



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

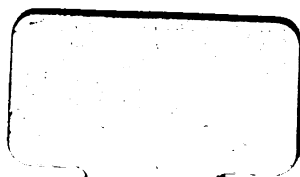
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

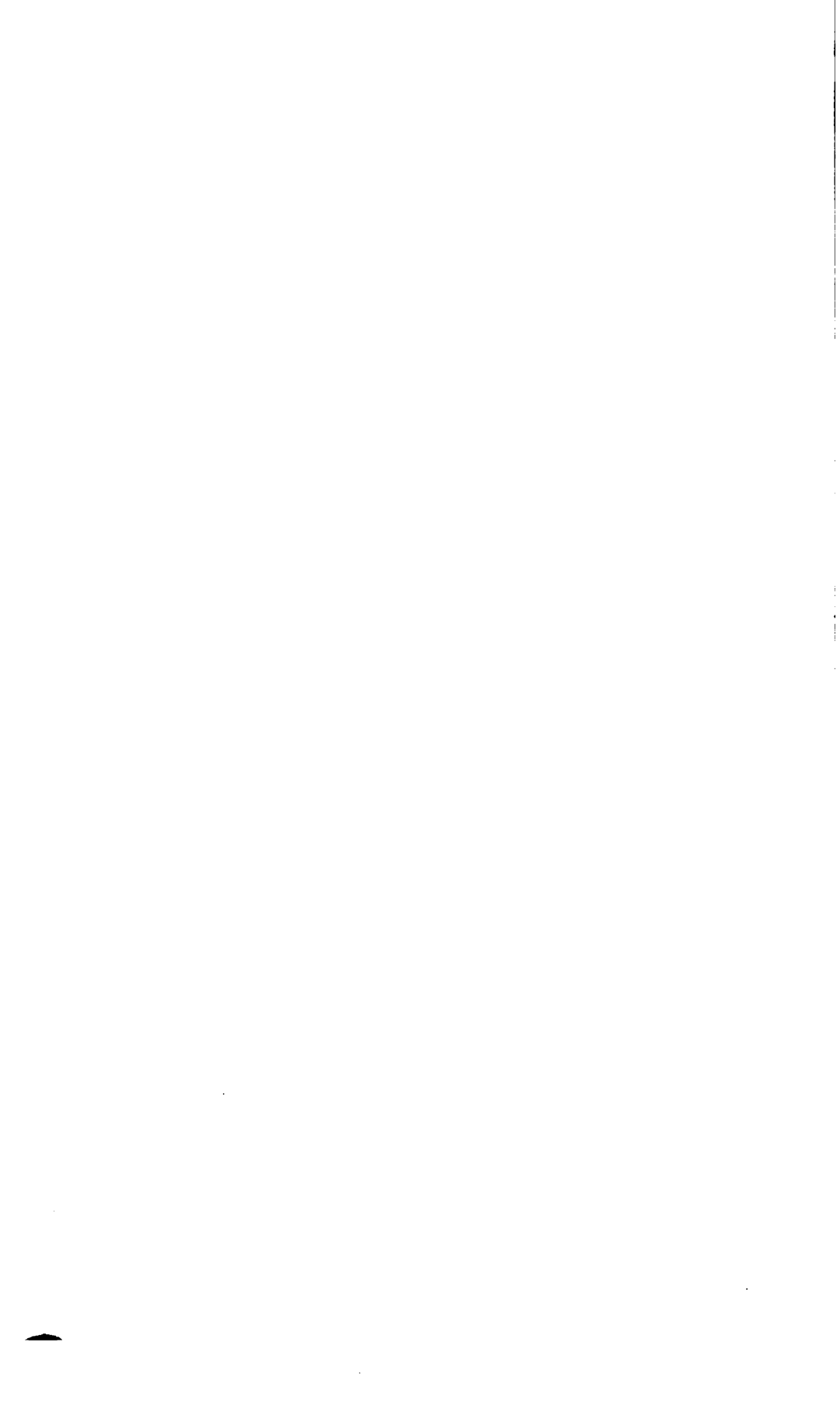
Slav 4345.28.830

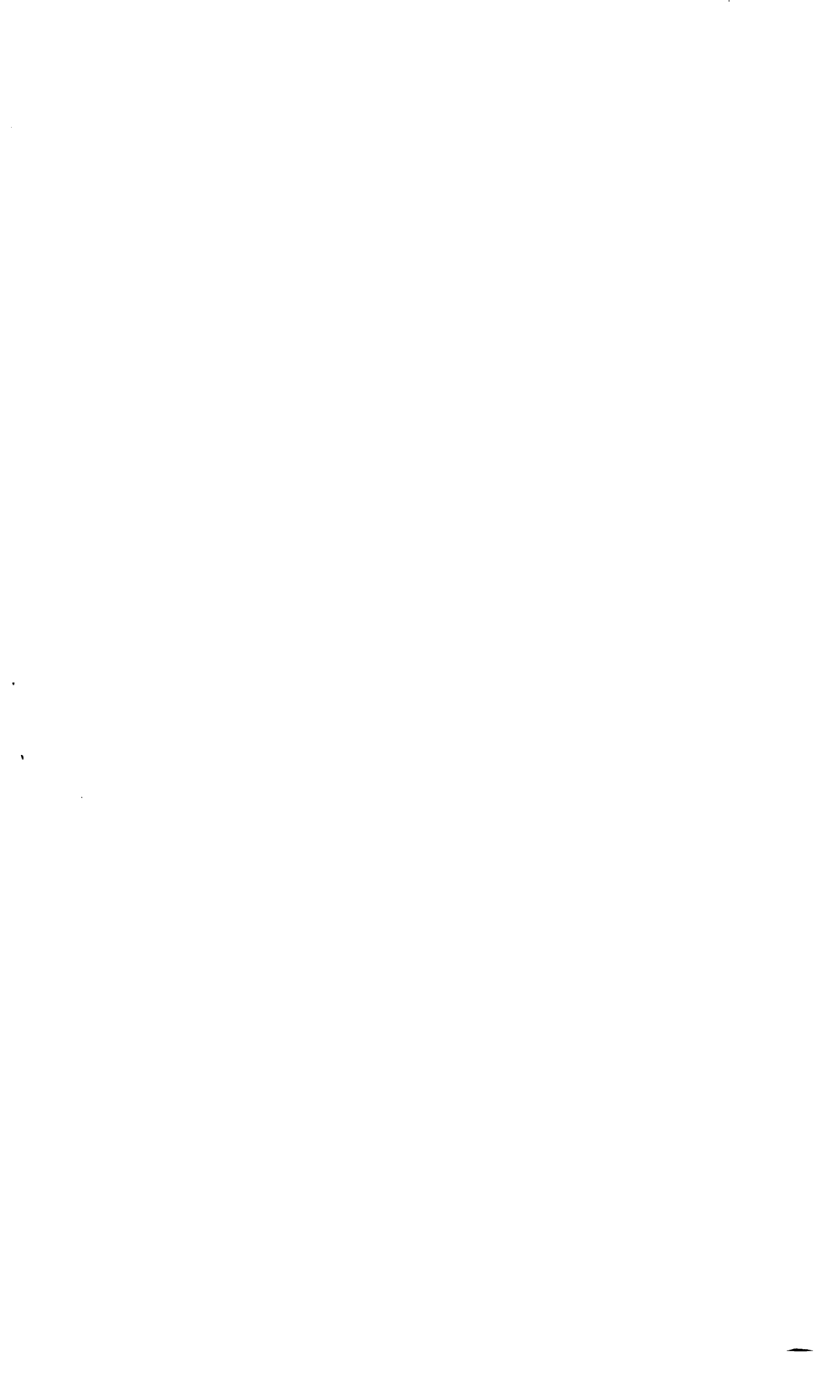


HARVARD
COLLEGE
LIBRARY









ИЗДАНИЕ

ОБЩЕСТВА РЕВНИТЕЛЕЙ РУССКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ

ВЪ ПАМЯТЬ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

ВЫПУСКЪ III



БРАТЯ КИРЪЕВСКІЕ

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ ИХЪ

ВАЛЕРІЯ ЛЯСКОВСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1899

139

Slav 4345.28.830

✓

LIASKOVSKIĬ

BRĀTĪA KĪKEEVSKIE,

Дозволено цензурою. Спб., 11 декабря 1898 г.

MRHP



7909
20

Типографія „В. С. Балашевъ и К^о“, Фонтанка, 95

БРАТЯ КИРЪЕВСКІЕ.

Жизнь и труды ихъ.

I.

Невдалекѣ отъ Бѣлева, надъ рѣкою Выркою, при впаденіи въ нее Чермошны и Вязовни, стоитъ село Долбино, старинная вотчина рода Кирѣевскихъ. Ровесница ея старины, древняя церковь, одна высится нынѣ неизмѣннымъ памятникомъ прошлаго.

Въ 1805 году Долбинскій помѣщикъ, Василій Ивановичъ Кирѣевскій, женился на Авдотѣ Петровнѣ Юшковой. Этимъ бракомъ породнились двѣ исключительно просвѣщенныя семьи. Секундъ-маіоръ гвардіи, владѣлецъ состоянія въ тысячу душъ, блестящій, молодой, независимый—Кирѣевскій имѣлъ полную возможность пожить «въ свое удовольствіе»; а мы знаемъ, какова бывала въ тѣ времена подобная жизнь. Но не таковъ былъ Василій Ивановичъ, и не таковы были жизненныя задачи, которыя носилъ онъ въ душѣ своей. Получивъ обширное по тому времени образованіе, зная пять языковъ, Кирѣевскій чувствовалъ призваніе къ естественнымъ наукамъ и медицинѣ. У него была своя лабораторія, а лѣченіемъ занимался онъ постоянно. Испытывалъ онъ свои силы и на поприщѣ словесности—переводилъ повѣсти, романы и самъ немного сочинялъ. Но не этими лишь чертами любознательности привлекателенъ его образъ, а необыкновенною добротою, о которой свидѣлствуютъ всѣ дошедшія до насъ извѣстія о

немъ. И это не было то добродушіе довольства, которое располагаетъ человѣка быть привѣтливымъ отъ веселья, щедрымъ отъ избытка: то была истинная, горячая любовь къ ближнему, готовая всегда дѣлить чужое горе, помогать чужой нуждѣ. Всю свою недолгую жизнь Василій Ивановичъ положилъ на дѣла милосердія. Въ 1812 году онъ пріѣхалъ въ Орелъ, близъ котораго у него была деревня, и оба свои дома—городской и деревенскій—отдалъ подъ больницы для раненныхъ, пріютивъ кромѣ того многія семейства, бѣжавшія отъ непріятеля со смоленской дороги. Онъ самъ ходилъ за больными, заразился тифомъ и умеръ въ Орлѣ 1-го Ноября 1812 года—въ день памяти безсребренниковъ, безмездныхъ врачей Космы и Даміана,—исполнивъ до конца заповѣдь Христову. Тѣло его было перевезено въ Долбино, которое онъ такъ любилъ, что, незадолго до смерти, озаглавилъ его именемъ книгу, предназначенную имъ для внесенія замѣтокъ и литературныхъ опытовъ, начавъ ее восторженною, наивно-риторическою похвалою своему родовому гнѣзду. Такихъ его книгъ—изъ толстой синей бумаги, въ корешкахъ—дошло до насъ двѣ. Содержаніе ихъ очень разнообразно: выписки изъ любимыхъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ и небольшіе наброски собственныхъ произведеній чередуются съ дѣловыми отмѣтками, воспоминаніями и записями мимолетныхъ мыслей. Все очень отрывочно, но все носитъ отпечатокъ пытливаго ума, искренности и теплоты душевной. Въ черновомъ прошеніи на имя Государя Кирѣевскій предлагаетъ способы для борьбы съ повальными болѣзнями: несомнѣнно, что вопросы народнаго здоровья болѣе всего его занимали. Трогательны двѣ замѣтки, въ которыхъ онъ упрекаетъ себя въ несправедливости—разъ по отношенію къ дворовому, котораго разбранилъ, въ другой разъ—къ крестьянину, которому запретилъ ѣхать лугомъ. Наконецъ, есть такая записъ: «О правда, правда! Гдѣ сіяешь ты? Освѣти насъ блескомъ своимъ! Тучи скрываютъ отъ насъ лице твое—мракъ отдѣляетъ насъ отъ тебя. Господи! Разорви завѣсу, отдѣляющую насъ отъ истины, дай намъ видѣть ее во всемъ блескѣ своемъ! Трудно, охъ

трудно сыскать человѣка, на котораго бы по справедливости положиться можно было».

Еще труднѣе—скажемъ мы за написавшимъ это—найти такому человѣку достойную его жену. На долю Василя Ивановича выпало это рѣдкое счастье. Авдотья Петровна, дочь Варвары Аванасьевны Юшковой—старшей сестры, крестной матери и отчасти воспитательницы Жуковского—любимая подруга его дѣтства, сестра Анны Петровны Зонтагъ, могла оцѣнить своего мужа и стать для него тѣмъ человѣкомъ, «на котораго по справедливости положиться можно было». Но Богъ не судилъ имъ долгаго счастья: всего семь лѣтъ прожила съ мужемъ Авдотья Петровна и осталась двадцати двухъ лѣтъ съ тремя дѣтьми на рукахъ. Изъ нихъ старшему сыну шелъ седьмой годъ, младшему—пятый и дочери—другой *).

Нелегкое дѣло предстояло молодой вдовѣ. Управление деревнями, разбросанными въ нѣсколькихъ губерніяхъ (Калужской, Орловской, Тульской, Тверской и Владимірской), требовало опытности, которой она, конечно, не имѣла; а скоро долженъ былъ представиться и вопросъ о воспитаніи дѣтей, особенно сыновей, столь мудреный для одинокой женщины. Къ выполненію второй задачи у нея по крайней мѣрѣ скоро нашелся надежный совѣтникъ.

Любовь Жуковского къ другой его племянницѣ, Марьѣ Андреевнѣ Протасовой, и окончательный отказъ ему въ ея рукахъ со стороны ея матери, Екатерины Аванасьевны, заставили огорченного поэта уѣхать изъ своего небольшого имѣнія въ сосѣдствѣ Протасовыхъ. Послѣ нихъ изъ родныхъ и друзей ближе всѣхъ была ему Авдотья Петровна—и вотъ онъ въ концѣ лѣта 1814 года перебрался въ Долбино, гдѣ и прожилъ больше года.

Время это оставило неизгладимый слѣдъ въ душѣ старшаго Кирѣевского; младшій, семилѣтній Петръ, не былъ еще

*) Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій родился 22-го Марта 1806 года въ Москвѣ, Петръ Васильевичъ—11-го Февраля 1808 года въ Долбинѣ, сестра ихъ Марья Васильевна—8-го Августа 1811 года.

въ состояніи имъ воспользоваться. Иванъ же, которому уже было почти девять лѣтъ и который, какъ первенецъ, да еще такъ рано лишившійся отца, очень рано и развился, всей душой привязался къ человѣку, неотразимо дѣйствовавшему на всѣхъ его знавшихъ возвышеннымъ строемъ своей души и младенческою чистотою сердца. Въ этомъ раннемъ сближеніи съ Жуковскимъ слѣдуетъ искать перваго объясненія того исключительно-идеальнаго склада, которымъ на всю жизнь запечатлѣлось мировоззрѣніе Ивана Васильевича Кирѣевского и который нашелъ себѣ завершеніе подъ конецъ ея подъ руководствомъ подвижниковъ инаго закала. Таковы были общія послѣдствія близости Жуковскаго; въ частности она же зародила въ его маленькомъ другѣ влеченіе къ занятіямъ словесностью. Какъ рано стали ему давать чтеніе, далеко упреждавшее его возрастъ, видно изъ сохранившейся книги извѣстнаго масона Ивана Владиміровича Лопухина—который, правда, былъ его крестнымъ отцомъ:—«Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, о единомъ пути истины и о различныхъ путяхъ заблужденія и гибели, съ присовокупленіемъ краткаго изображенія качествъ и должностей истиннаго христіанина». На заглавномъ листѣ этой книги надпись: «Отъ автора на память искренняго уваженія», а подъ портретомъ И. В. Лопухина—«Милому Ванюшѣ за доброе его сердце отъ истиннаго друга бабушки, 1814—Февраля 20»—то есть когда будущему философу не было еще полныхъ восьми лѣтъ.... Младшій его братъ, который, какъ мы уже сказали, былъ тогда еще слишкомъ малъ, и не былъ въ такой степени затронутъ этими впечатлѣніями. Можно предполагать, что это впослѣдствіи отразилось на разницѣ ихъ умственнаго склада, при всей ихъ неразрывной дружбѣ и при томъ безпредѣльномъ поклоненіи, которое всегда питалъ Петръ Васильевичъ къ своему, повидимому болѣе даровитому, старшему брату. Но объ этомъ мы будемъ имѣть случай говорить еще не одинъ разъ.

Въ концѣ 1815 года Жуковскій покинулъ Долбино, мечтая скоро опять туда вернуться и посвятить себя воспитанію Кирѣевскихъ; но мечта эта не осуществилась.

Черезъ два года Авдотья Петровна вторично вышла замужъ за своего троюроднаго брата Алексѣя Андреевича Елагина, человѣка также очень образованнаго, который былъ почитателемъ Шеллинга и даже переводилъ его сочиненія. Дальнѣйшее образованіе молодыхъ Кирѣевскихъ шло подъ руководствомъ вѣтчимы и матери. Они прекрасно изучили математику и языки французскій и нѣмецкій и перечитали множество книгъ по словесности, исторіи и философіи изъ библіотеки, собранной еще ихъ отцомъ. Въ 1822 году, для окончанія ихъ ученія, вся семья переѣхала въ Москву. Къ двумъ братьямъ въ ней прибавился младшій, Елагинъ—Василій и позднѣе—Николай, Андрей и сестра Елизавета. Ученье старшихъ по прежнему шло совершенно однимъ путемъ; но при этомъ конечно Иванъ, по годамъ своимъ, долженъ былъ опередить Петра. Они брали уроки у профессоровъ университета Мерзлякова, Свєгирева и другихъ; кромѣ того Иванъ слушалъ публичныя лекціи о природѣ профессора М. Г. Павлова, послѣдователя Шеллинга. Товарищемъ его по ученію былъ А. И. Кошелевъ. Въ это время Кирѣевскіе выучились по англійски, по латыни и по гречески; но приобрѣтенное ими знаніе древнихъ языковъ было настолько невелико, что Ивану Васильевичу, двадцать лѣтъ спустя, пришлось учиться имъ вновь. Теперь же это была не болѣе какъ подготовка къ экзамену, называвшемуся тогда комитетскимъ, который Иванъ Васильевичъ и выдержалъ вмѣстѣ съ Кошелевымъ и вмѣстѣ же съ нимъ въ 1824 году поступилъ въ Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ; Петръ служилъ въ немъ также, но гораздо позже. Съ этого времени умственныя дороги братьевъ, при сохраненіи всей ихъ дружбы, начинаютъ постепенно обособляться, чтобы много лѣтъ спустя, какъ мы увидимъ, сблизиться вновь.

II.

На Солянкѣ, въ старинномъ домѣ, принадлежавшемъ нѣкогда думному дяку Украинцеву, помѣщалось учрежденіе, носившее названіе Московскаго Главнаго Архива Коллегіи—а затѣмъ Министерства—Иностранныхъ Дѣлъ. Нѣкогда только архивъ, то есть мѣсто храненія статейныхъ списковъ и дѣлъ Посольскаго Приказа и послѣдующей дипломатической переписки—учрежденіе это, по волѣ Екатерины и подъ руководствомъ исторіографа Миллера, принялось за разборку и подготовку къ печати актовъ дипломатическихъ сношеній Россіи. Постепенно развивая свою дѣятельность въ этомъ направленіи, Архивъ въ 1811 году выдѣлилъ изъ себя Коммиссію печатанія Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ, которая, при щедрой денежной помощи канцлера графа Румянцева, начала издавать собраніе ихъ. При директорахъ Архива Н. Н. Бантышъ-Каменскомъ, А. О. Малиновскомъ и впослѣдствіи князѣ М. А. Оболенскомъ продолжалась непрерывная разработка неисчерпаемыхъ—и доселѣ неисчерпанныхъ—сокровищъ Архива. Достаточно назвать имена потрудившихся здѣсь К. О. Калайдовича и П. М. Строева или пользовавшихся здѣшними актами С. М. Соловьева и митрополита Макарія, чтобы напомнить о количествѣ и достоинствѣ исполненной въ Архивѣ работы. Позднѣе Архивъ былъ перемѣщенъ въ новое великолѣпное зданіе на Моховой и его недавно умершій директоръ баронъ О. А. Бюлеръ могъ широко открыть русскимъ и иностраннымъ ученымъ гостепріимныя двери ар-

хивскихъ читаленъ. Нынѣ въ этомъ и сосредоточивается значеніе Архива; но въ то время, когда поступилъ въ него И. В. Кирѣевскій, русскіе историки были на перечеѣ, постороннихъ въ Архивъ не допускали и что въ немъ дѣлалось—дѣлалось своими чиновниками; зато этихъ чиновниковъ было многія сотни.

Традиціонная связь дипломатической карьеры съ хорошимъ тономъ, изящество и сравнительная легкость службы, перспектива полученія мѣста за границей, куда такъ тянуло русскаго образованнаго человѣка того времени и куда ему не всегда легко было попасть—все это привлекало въ Архивъ цвѣтъ тогдашней московской молодежи. Конечно, дѣло дѣлало собственно малое число архивскихъ чиновниковъ: остальные только числились на службѣ, ожидая перевода въ Петербургъ или за границу и служа предметомъ частью зависти (за право ничего не дѣлать), частью ироническихъ замѣчаній.

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядятъ—

сказалъ Пушкинъ въ «Евгеніѣ Онѣгинѣ». Прозвище это такъ и осталось за ними. Но кромѣ этой отрицательной стороны дѣла, была и положительная. Соединеніе въ близкомъ, непринужденномъ товариществѣ множества людей молодыхъ, способныхъ, образованныхъ и независимыхъ—не могло пройти безслѣдно ни для Москвы, ни для самихъ этихъ людей; и не слѣдуетъ забывать, что Архивъ былъ тѣмъ первымъ по времени центромъ, гдѣ зародилась позднѣйшая умственная жизнь Москвы и главнымъ образомъ философскихъ ея кружковъ.

Для официальнаго средоточія этой жизни, Московскаго университета, это время было временемъ переходнымъ. Старыя свѣтила закатывались, новыя еще не восходили. При томъ, по условіямъ тогдашней жизни, значительная доля образованія шла, такъ сказать, мимо университета. Если мы перечислимъ тогдашнюю молодежь, о которой и идетъ рѣчь, то увидимъ, что добрая половина тѣхъ людей, въ которыхъ выразилось русское просвѣщеніе середины истекающаго вѣка,—не были питомцами университета. Причины этого слѣдуетъ

искать не столько въ неудовлетворительности послѣдняго, — ибо изъ него тогда же выходили крупные умы и таланты, — сколько именно въ складѣ учебнаго дѣла, установившемся въ тогдашнемъ высшемъ дворянствѣ, которое, въ свою очередь, заключало въ себѣ почти все свѣтское образованіе того времени. Самая эта, такъ сказать, привилегированность образованія, бывшаго принадлежностью одного очень тонкаго общественнаго слоя, заставляла людей этого слоя ревниво, хотя бы и не всегда сознательно, оберегать свое просвѣщеніе отъ вульгаризаціи: а университетъ, тогда несравненно менѣе свѣтскій по своей внѣшности, не могъ не представляться вульгарнымъ въ глазахъ людей, стоявшихъ еще на рубежѣ прошлаго вѣка. Университетъ этотъ наполнялся не одними дворянами — а иные родители не желали, чтобы сыновья ихъ сидѣли на одной скамьѣ съ разночинцами. Между тѣмъ обычай домашняго обученія остался отъ прежняго времени; и хотя многимъ родителямъ того поколѣнія, о которомъ говоримъ мы, большинство только что перечисленныхъ соображеній было уже чуждо, но общественныя привычки мѣняются не сразу и всегда переживаютъ породившія ихъ условія. Таковы были причины, по которымъ значительная доля юношества двадцатыхъ годовъ училась дома. Одно случайное обстоятельство придавало этому ученію характеръ, котораго не имѣло ни болѣе раннее, ни послѣдующее время. Какъ и прежде и какъ долго послѣ — домашними учителями въ русскихъ семьяхъ были иностранцы; но до поколѣнія, о которомъ идетъ рѣчь, еще дожили воспитатели, какихъ послѣ уже не было — французскіе эмигранты. Изъ нихъ нѣкоторые были люди съ выдающимся характеромъ, образованіемъ и умомъ; конечно, такой составъ учителей не могъ не отразиться на общемъ уровнѣ учениковъ.

Молодые люди изъ высшаго круга, приготовившись дома, обыкновенно держали въ университетѣ экзаменъ для поступленія на службу; иные поступали въ университетъ студентами или вольными слушателями; рѣдкіе прямо держали экзаменъ на кандидата. Такимъ образомъ связь съ университе-

томъ все же поддерживалась постоянно черезъ профессоровъ и товарищей.

Первымъ и ближайшимъ товарищемъ И. В. Кирѣвскаго былъ, какъ мы уже сказали, Александръ Ивановичъ Кошелевъ, одинъ изъ немногихъ русскихъ людей, которымъ долгота жизни позволила довершить все, къ чему они сами считали себя призванными. Дѣятельность Кошелева—еще въ памяти людей нынѣ живущихъ; жизнь его подробно разсказана въ недавно вышедшемъ обширномъ трудѣ *). Поэтому личность его—одна изъ наиболѣе опредѣленныхъ въ нашемъ недавнемъ прошломъ. Незадолго до его смерти, когда составитель настоящаго очерка, приступая къ обработкѣ біографіи Хомякова, попросилъ у Алексадръ Ивановича объясненія одной черты богословской дѣятельности его покойнаго друга,—Кошелевъ, давъ, какъ всегда, короткій и ясный отвѣтъ на предложенный вопросъ, прибавилъ: «Впрочемъ знайте, что я всегда больше былъ по политической части». Эти слова необыкновенно ясно рисуютъ сказавшаго ихъ и въ то же время доказываютъ, какъ вѣрно понималъ онъ свое призваніе. Ужъ сильный, способный, но не склонный къ философскому самоуглубленію и потому всегда предпочитающій ему дѣятельность практическую; твердая воля и привычка къ послѣдовательной и усидчивой работѣ; отсутствіе художественныхъ способностей, дающее видъ сухости и холодности, при ясномъ пониманіи сердечныхъ отношеній и при неизмѣнной крѣпости сердечныхъ привязанностей, свѣжесть духа и тѣла до глубокой старости—вотъ какимъ представляется намъ Кошелевъ. Въ отношеніи И. В. Кирѣвскаго онъ любопытенъ тѣмъ, что былъ едва-ли не полною его противоположностью:—тѣмъ поучительнѣе ихъ почти полувѣковая неразрывная дружба.

Въ Московскомъ Архивѣ встрѣтились они съ Титовымъ **)

*) Н. Колмановъ, Біографія А. И. Кошелева.

**) Владиміра Павловича Титова пишущему это пришлось видѣть одинъ разъ весною 1883 года въ этомъ самомъ Архивѣ. Показывая ему Архивъ, въ которомъ времена службы обоихъ были раздѣлены *шестьюдесятью* годами, нельзя было не поддаться обаянію необыкновенной ясности ума и души восьмидесятилѣтняго старца. Таковъ былъ Титовъ и во всю свою жизнь:

и съ братьями Веневитиновыми. Письма В. П. Титова къ И. В. Кирѣевскому говорятъ повидимому о мелочахъ; но въ нихъ рисуется его характеръ—живой, бодрый, привлекательный—и его горячая любовь къ Кирѣевскому, не ослабленная ни долговременною разлукою, ни блестящею дипломатическою карьерою Титова. Не даромъ Петръ Васильевичъ Кирѣевскій, въ письмѣ къ брату изъ Петербурга въ 1835 году по поводу пріема, оказаннаго ему тамъ друзьями Ивана Васильевича, говорить: «Особенно въ холодной и законической заботливости Титова есть что-то истинно трогательное: вотъ человекъ, какихъ я люблю! и это можетъ быть именно тотъ изъ друзей твоихъ, который всѣхъ глубже тебя любитъ».

Такимъ же вѣрнымъ другомъ былъ Алексѣй Владиміровичъ Веневитиновъ, доказавшій это въ послѣдніе дни жизни Ивана Васильевича и потомъ нѣжною заботливостью о дѣтяхъ его, послѣ его смерти. Его безвременно умершій братъ Дмитрій Владиміровичъ былъ руководителемъ своихъ сверстниковъ въ изученіи германской философіи. Первые шаги Дмитрія Веневитинова на поприщахъ поэзіи, философіи и критики были настолько широки и смѣлы, что трудно сказать теперь, по какому изъ этихъ путей пошелъ бы онъ окончательно; но что смерть его была тяжелою утратою для Россіи—это несомнѣнно. Въ своемъ дружескомъ кружкѣ Веневитиновъ оставилъ навсегда глубокій слѣдъ и благоговѣйное воспоминаніе. Изъ другихъ архивныхъ юношей назовемъ талантливаго и нѣсколько безпорядочнаго С. А. Соболевскаго—впослѣдствіи извѣстнаго библіографа; его друга И. С. Мальцова—впослѣдствіи управляющаго Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ и одного изъ первыхъ по времени русскихъ фабрикантовъ; наконецъ будущаго профессора русской словесности С. П. Шевырева и воспитателя Ѳ. И. Тютчева—С. А. Рянча. Изъ числа не служившихъ въ Архивѣ воспитанниковъ Московскаго университета къ этому кружку примкнули: М. П. Погодинъ, ботаникъ и собиратель малороссійскихъ пѣсенъ М. А. Максимовичъ, переводчикъ «Вертера» Н. М. Рожалинъ и князь В. Ѳ. Одоевскій. Нѣсколько позже Иванъ Васильевичъ сошелся

съ графомъ Е. Е. Комаровскимъ и съ поэтомъ Е. А. Баратынскимъ; послѣдняго онъ считалъ однимъ изъ самыхъ дорогихъ своихъ друзей. Чрезъ Веневитиновыхъ къ тому же кружку принадлежали ихъ товарищи по ученью, братья Хомяковы. Изъ нихъ особенно друженъ съ Д. В. Веневитиновымъ былъ старшій, Ѳеодоръ, служившій въ Петербургѣ; младшій же, Алексѣй Степановичъ, также мало жившій въ эти годы въ Москвѣ, сдѣлался замѣтенъ въ кругу товарищей нѣсколько позже.

Такова была умственная обстановка, въ которой вращались братья Кирѣевскіе. Насколько можно судить по раннимъ письмамъ Кошелева, первою наукою, обратившею на себя вниманіе И. В. Кирѣевского, была политическая экономія: по крайней мѣрѣ лѣтомъ 1822 г., во время подготовленія къ экзамену, онъ писалъ какое-то сочиненіе о торговлѣ, и Кошелевъ собирается много спорить съ нимъ объ этомъ предметѣ. Немного позже, Кошелевъ совѣтуетъ Кирѣевскому заняться изложеніемъ Адама Смита, котораго онъ много читалъ. Но уже въ слѣдующемъ 1824 году Иванъ Васильевичъ увлекся германской философіей въ товарищескомъ кружкѣ Веневитинова и князя Одоевскаго, издававшаго сборникъ «Мнемосину».—«Въ то время»—говоритъ Кошелевъ въ своихъ запискахъ: «кружокъ совершенно предался изученію умозрительной философіи и считалъ христіанское ученіе годнымъ только для народныхъ массъ. Особенно высоко цѣнило общество Спинозу, творенія котораго оно ставило выше Евангелія и другихъ священныхъ писаній. Предсѣдателемъ общества былъ князь Одоевскій, а главнымъ ораторомъ Дм. Веневитиновъ, который своими рѣчами приводилъ въ восторгъ и заставлялъ Кирѣевского выразиться, что Веневитиновъ рожденъ болѣе для философіи, чѣмъ для поэзіи». Общество окончило существованіе послѣ 14 декабря 1825 г. Вскорѣ Одоевскій, а за нимъ Кошелевъ и Веневитиновъ, переѣхали въ Петербургъ, Кирѣевскій продолжалъ заниматься философіей, и въ іюнѣ 1826 года Кошелевъ пишетъ ему: «Съ нетерпѣніемъ желаю прочесть твое сочиненіе о Добродѣтели. Предметъ еще мало

обработанный съ той точки на которую (ты его) поставилъ— на трансцендентальный идеализмъ, единственное Любомудріе, могущее развернуть намъ мысль добра».

Итакъ двадцатилѣтній И. В. Кирѣевскій былъ совершенно чуждъ христіанскаго міровоззрѣнія въ наукѣ. Петръ Васильевичъ, какъ кажется, расходился въ этомъ съ горячо любимымъ братомъ и напротивъ напелъ единомышленника въ Хомяковѣ, который возвратился въ Москву въ 1827 году. Но о занятіяхъ и взглядахъ Петра Васильевича за это время мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ точныхъ извѣстій. Кошелевъ и Титовъ, переселившись въ Петербургъ, стали звать туда И. В. Кирѣевскаго. Въ 1827 году онъ пишетъ первому: «Ты говоришь, что сообщеніе съ людьми необходимо для нашего образованія,—и я съ этимъ совершенно согласенъ; но ты зовешь въ Петербургъ.—Назови же тѣхъ счастливецъ, для общества которыхъ долженъ я ѣхать за тысячу верстъ, и тамъ употреблять большую часть времени на бесполезныя дѣла. Мнѣ кажется, что здѣсь есть вѣрнѣйшее средство для образованія: это—возможность употреблять время, какъ хочешь. Не думай, однако же, чтобы я забылъ, что я Русскій и не считалъ себя обязаннымъ дѣйствовать для блага своего отечества. Нѣтъ! Всѣ силы мои посвящены ему. Но мнѣ кажется, что въ службѣ—я могу быть ему полезнѣе, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литераторомъ—а содѣйствовать къ просвѣщенію народа не есть ли величайшее благодѣяніе, которое можно ему сдѣлать? На этомъ поприщѣ мои дѣйствія не будутъ бесполезны; я могу это сказать безъ самонадѣянности. Я не бесполезно провелъ мою молодость, и уже теперь могу съ пользою дѣлиться своими свѣдѣніями. Но цѣлую жизнь имѣя главною цѣлью: образоваться, могу ли я не имѣть вѣса въ литературѣ? Я буду имѣть его и дамъ литературѣ свое направленіе. Мнѣ все ручается въ томъ, а болѣе всего сильные помощники, въ числѣ которыхъ не лишнее упомянуть о Кошелевѣ; ибо люди, связанные единомысліемъ, должны имѣть одно направленіе. Всѣ тѣ, которые совпадаютъ со мной въ образѣ мыслей, будутъ моими сообщни-

ками. Кромѣ того, слушай одно изъ моихъ любимыхъ мечтаній: у меня четыре брата, которымъ природа не отказала въ способностяхъ. Всѣ они будутъ литераторами и у всѣхъ будетъ отражаться одинъ духъ. Куда бы насъ судьба ни завела, и какъ бы обстоятельства ни разрознили, у насъ все будетъ общая цѣль: благо отечества, и общее средство: литература. Чего мы не сдѣлаемъ общими силами? Не забудь, что когда я говорю *мы*, то разумѣю и тебя, и Титова.

«Мы возвратимъ права истинной религіи, изыщное согласимъ съ нравственностью, возбудимъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ, и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога. Но чѣмъ ограничить наше вліяніе? Гдѣ положишь ты ему предѣлы, сказавъ *plus ultra*? Пусть самое смѣлое воображеніе поставитъ ему Геркулесовы столбы,—новый Колумбъ откроетъ за ними новый свѣтъ.

«Вотъ мои планы на будущее. Что можетъ быть ихъ восхитительнѣе? Если судьба будетъ намъ покровительствовать, то представь себѣ, что лѣтъ черезъ 20 мы сойдемся въ дружескій кругъ, гдѣ каждый изъ насъ будетъ отдавать отчетъ въ томъ, что онъ сдѣлалъ, и въ свои свидѣтели призывать просвѣщеніе Россіи. Какая минута!»

Таковы были мечты двадцатилѣтняго Кирѣевского.

Тогда же, для литературнаго вечера княгини З. А. Волконской, написалъ онъ небольшой очеркъ «Царицынская ночь», оканчивающійся душевными стихами:

Смотрите, о други! надъ нами семь звѣздъ:
То вѣстники счастья, о други!
Залогъ исполненія лучшихъ надеждъ,
Блестящее зеркало жизни.

Такъ други! Надъ темною жизнію намъ
Семь звѣздъ зажжено Провидѣньемъ;
И все, что прекраснаго есть на землѣ,—
Все даръ семизвѣзднаго хора.

Намъ *Впры звезда* утѣшитель въ бѣдахъ
И въ счастья надежный вожатый;

Звѣзда Писмопилья лъетъ въ душу восторгъ
И жизнь согрѣваетъ мечтою.

Но счастливъ, кто обнялъ мечту не во снѣ!
Кому, на восторгъ отвѣчая,
Лазурное небо стыдливыхъ очей
Звѣздомъ Любви загорѣлось!

Кого возлелѣяла *Славы звѣзда!*
Кому, предъ неправою силой,
Главы благородной склонить не дала
Свободы звѣзда золотая.

Кто *Дружбы звѣздой* изъ немногихъ избранъ
Сокровища лучшія сердца
Со страхомъ отъ взоровъ людей не таилъ,
Какъ тать укрываетъ святыню.

Седьмая звѣзда свѣтитъ ярче другихъ,
Надеждою свѣтъ тотъ прекрасенъ!
Но въ горѣ отрады она не даетъ
И счастья съ собой не выносить:

Страданья и смерть общаетъ она
Тому, кто безумной мечтою
Въ вожатые жизни ее избереть...
О други! Кто пьетъ за *седьмую?*

Это было первое произведеніе Кирѣевскаго, вышедшее за предѣлы тѣснаго кружка товарищей. Весною 1828 года на проводахъ Мицкевича онъ читалъ ему свои, написанные по этому случаю, стихи. Въ томъ же году въ «Московскомъ Вѣстникѣ» была напечатана *) статья Ивана Васильевича «Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина» и переводъ Петра Васильевича изъ Кальдерона. Въ альманахѣ Максимовича «Денница» Иванъ Васильевичъ напечаталъ «Обозрѣніе Русской Словесности за 1829 годъ» — уже съ подписью. Такъ въ качествѣ критика выступилъ онъ на литературное поприще, которое и онъ и его ближайшіе друзья считали истиннымъ его призваніемъ.

*) Безъ имени автора, а съ подписью цифръ 9 и 11, то-есть И. К. — по счету буквъ отъ начала азбуки: И—9, К—11.

Небольшая статья о Пушкинѣ, помимо своихъ положительныхъ достоинствъ, невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе сдержанностью тона и самостоятельностью взгляда двадцатидвухлѣтняго автора и притомъ въ такое время, когдѣ почти вся наша литературная критика представляла смѣсь общихъ фразъ съ площадною бранью. Статья Кирѣевского была едва ли не первою въ Россіи попыткою критики серьезной и строго художественной. Самое содержаніе статьи—раздѣленіе творчества Пушкина на три періода: итальянско-французскій, Байроновскій и народный (или русско-Пушкинскій, какъ его называетъ Кирѣевскій)—не говоритъ намъ *теперь* ничего новаго; но если мы вспомнимъ время ея написанія—за семь лѣтъ до смерти Пушкина,—то такая ясность пониманія критикомъ развитія творчества поэта задолго до завершенія этого развитія явится не малою заслугою въ нашихъ глазахъ, а опредѣленіе достоинствъ и недостатковъ отдѣльныхъ поэмъ и указаніе на *народность* творчества поражаютъ и теперь своею мѣткостью. Особенно любопытно сопоставить послѣднее указаніе съ мнѣніями Бѣлинскаго и съ рѣчью Достоевскаго при открытіи памятника Пушкину: сопоставленіе это показываетъ, что вопросъ, поднятый гораздо позже, уже ясно представлялся уму Кирѣевского за цѣлые полвѣка.

«Обозрѣніе Русской Словесности за 1829 годъ» начинается похвалою новому цензурному уставу: похвала эта звучитъ горькой ироніей для потомства, знающаго, какаѣ судьба постигла самого автора черезъ два года... Помянувъ далѣе добрымъ словомъ незадолго передъ тѣмъ умершаго Новикова,—создателя у насъ охоты къ чтенію—Кирѣевскій вкратцѣ опредѣляетъ развитіе русской словесности начала этого вѣка, дѣля его на три эпохи, отмѣченныя дѣятельностью Карамзина, Жуковскаго и Пушкина: взглядъ опять вполне усвоенный нами теперь, но тогда, надъ свѣжей могилой Карамзина и при жизни Жуковскаго и Пушкина не лишенный новизны и поучительности. Слѣдующій затѣмъ разборъ отдѣльныхъ литературныхъ явленій истекшаго года—отношенія критики къ XII тому Исторіи Государства Россійскаго, достоинствъ и недо-

статковъ «Полтавы Пушкина» и другихъ болѣе мелкихъ произведеній—мѣстами очень мѣтокъ, но для уясненія взглядовъ Кирѣевского не даетъ намъ ничего новаго. Въ отзывѣ о Веневитиновѣ звучитъ глубокое личное чувство. Переходя къ философскимъ начинаніямъ покойнаго, Кирѣевскій говоритъ:

«Но что долженъ былъ совершить Веневитиновъ, чему помѣшала его ранняя кончина, то совершится само собою, хотя, можетъ быть, уже не такъ скоро, не такъ полно, не такъ прекрасно. Намъ *необходима* философія: все развитіе нашего ума требуетъ ея. Ею одною живетъ и дышетъ наша поэзія; она одна можетъ дать душу и цѣлость нашимъ младенствующимъ наукамъ, и самая жизнь наша, можетъ быть, займетъ отъ нея изящество стройности. Но откуда придетъ она? Гдѣ искать ее?

«Конечно, первый шагъ къ ней долженъ быть присвоеніемъ умственныхъ богатствъ той страны, которая въ умозрѣніи опередила всѣ другіе народы. Но чужія мысли полезны только для развитія собственныхъ. Философія нѣмецкая вкорениться у насъ не можетъ. *Наша* философія должна развиться изъ *нашей* жизни, создаться изъ текущихъ вопросовъ, изъ господствующихъ интересовъ *нашего* народнаго и частнаго быта. Когда? и какъ?—скажетъ время; но стремленіе къ философіи нѣмецкой, которое начинается у насъ распространяться, есть уже важный шагъ къ этой цѣли».

Въ концѣ «Обозрѣнія» авторъ обращается къ будущности уже не философіи русской, а словесности и всего русскаго просвѣщенія. Приводимъ этотъ конецъ цѣликомъ.

«Но если мы будемъ разсматривать нашу словесность въ отношеніи къ словесностямъ другихъ государствъ, если просвѣщенный европеецъ, развернувъ передъ нами всѣ умственные сокровища своей страны, спроситъ насъ: «Гдѣ литература ваша? Какими произведеніями можете вы гордиться передъ Европою?»—Что будемъ отвѣчать ему?

«Мы укажемъ ему на «Исторію Россійскаго Государства»; мы представимъ ему нѣсколько одъ Державина, нѣсколько стихотвореній Жуковскаго и Пушкина, нѣсколько басенъ Кры-

лова, нѣсколько сценъ изъ фонъ-Визина и Грибоѣдова, и— гдѣ еще найдемъ мы произведенія достоинства Европейскаго?

«Будемъ безпристрастны и сознаемся, что у насъ еще нѣтъ полного отраженія умственной жизни народа, у насъ еще нѣтъ литературы. Но утѣшимся: у насъ есть блага, залогъ всѣхъ другихъ: у насъ есть надежда и мысль о великомъ назначеніи нашего отечества!

«Вѣнецъ просвѣщенія европейскаго служилъ колыбелью для нашей образованности; она рождалась, когда другія государства уже доканчивали кругъ своего умственного развитія, и гдѣ они останавливались, тамъ мы начинаемъ. Какъ младшая сестра въ большой, дружной семьѣ, Россія прежде вступленія въ свѣтъ богата опытностью старшихъ.

«Взгляните теперь на всѣ европейскіе народы: каждый изъ нихъ уже совершилъ свое назначеніе, каждый выразилъ свой характеръ, пережилъ особенность своего направленія, и уже ни одинъ не живетъ отдѣльною жизнію: жизнь *цѣлой* Европы поглотила самостоятельность всѣхъ *частныхъ* государствъ.

«Но для того, чтобы *цѣлое* Европы образовалось въ стройное, органическое тѣло, нужно ей особенное средоточіе, нуженъ народъ, который бы господствовалъ надъ другими своимъ политическимъ и умственнымъ перевѣсомъ. Вся исторія новѣйшаго просвѣщенія представляетъ необходимость такого господства: всегда одно государство было, такъ сказать, *столпцемъ* другихъ, было *сердцемъ*, изъ котораго выходитъ и куда возвращается вся кровь, всѣ жизненные силы просвѣщенныхъ народовъ.

«Италія, Испанія, Германія (во время реформаціи), Англія и Франція, попеременно управляли судьбою Европейской образованности. Развитие внутренней силы было причиною такого господства, а упадокъ силы причиною его упадка

«Англія и Германія находятся теперь на вершинѣ Европейскаго просвѣщенія; но вліяніе ихъ не можетъ быть живительное, ибо ихъ внутренняя жизнь уже окончила свое развитіе, состарѣлась и получила ту односторонность зрѣлости,

которая дѣлаетъ ихъ образованность исключительно имъ однимъ приличною.

«Вотъ отъ чего Европа представляетъ теперь видъ какого-то оцѣпенѣнія; политическое и нравственное усовершеніе равно остановились въ ней, запоздалыя мнѣнія, обветшалыя формы, какъ запруженная рѣка, плодоносную страну превратили въ болото, гдѣ цвѣтутъ однѣ незабудки, да изрѣдка блеститъ холодный, блуждающій огонекъ.

«Изъ всего просвѣщеннаго человѣчества два народа не участвуютъ во всеобщемъ усыпленіи, два народа молодше, свѣжше, цвѣтутъ надеждою: это Соединенные Американскіе Штаты и наше отечество.

«Не отдаленность мѣстная и политическая, а болѣе всего односторонность аяглійской образованности Соединенныхъ Штатовъ,—всю надежду Европы переносятъ на Россію.

«Совмѣстное дѣйствіе важнѣйшихъ государствъ Европы участвовало въ образованіи начала нашего просвѣщенія, приготовило ему характеръ обще-Европейскій и вмѣстѣ дало возможность будущаго вліянія на всю Европу.

«Къ той же цѣли ведутъ насъ гибкость и переимчивость характера нашего народа, его политическіе интересы и самое географическое положеніе нашей земли.

«Судьба каждаго изъ государствъ Европейскихъ зависитъ отъ совокупности всѣхъ другихъ;—судьба Россіи зависитъ отъ одной Россіи.

«Но судьба Россіи заключается въ ея просвѣщеніи: оно есть условіе и источникъ *всѣхъ* благъ. Когда же эти *всѣ* блага будутъ *нашими*,—мы ими подѣлимся съ остальною Европою и весь долгъ нашъ заплатимъ ей сторицею».

Во второмъ изъ приведенныхъ отрывковъ уже слышится будущій авторъ письма «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи»; первый—невольнo обращаетъ нашу мысль къ статьѣ «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи».

Въ своемъ мѣстѣ, говоря объ этихъ двухъ важнѣйшихъ трудахъ Кирѣевского, отдѣленныхъ отъ «Обозрѣнія» проме-

жутками времени: первый въ 22, второй въ 26 лѣтъ, мы возвратимся къ этому первому наброску его взгляда на задачи русскаго просвѣщенія; теперь же отмѣтимъ только мысль, которая, хотя и не совсѣмъ ясно, сквозить въ немъ: убѣжденіе въ необходимости найти то основное начало, которымъ бы могло обновиться это просвѣщеніе.

Трудно рѣшить, предугадывалъ ли самъ Кирѣевскій въ эту пору своей жизни, какой путь избереетъ онъ въ исканіи истины—трудно не столько по отсутствію точныхъ біографическихъ свѣдѣній объ этомъ вопросѣ, сколько потому, что выборъ пути совершился не какъ логическій выводъ, а какъ фактъ внутренней духовной жизни мыслителя. Для насъ важно удостовѣриться въ томъ, что онъ уже тогда искалъ разгадки своему сомнѣнію и заканчивалъ свое размышленіе вопросомъ, очевидно пока еще не находя на него отвѣта. Если мы вѣрно понимаемъ значеніе этой поворотной точки въ воззрѣніяхъ Ивана Васильевича, то послѣдовавшее вскорѣ за тѣмъ обращеніе его къ православно-христіанскому взгляду на философію въ мысли и къ вѣрѣ въ жизни перестаетъ казаться такимъ переломомъ или даже скачкомъ, какимъ многіе хотѣли его представить, а является напротивъ вполне послѣдовательнымъ, естественнымъ и разумнымъ завершеніемъ всего предшествовавшаго его развитія.

Но намекъ, брошенный Кирѣевскимъ, слишкомъ еще опередилъ время и не былъ повидимому замѣченъ не только присяжными журналистами, которымъ, конечно, мало было дѣла до подобныхъ вопросовъ, но и болѣе зоркими и вдумчивыми читателями. Первые подхватили въ «Обозрѣніи» двѣ мелкія подробности: замѣчаніе о томъ, что «остроуміе и вкусъ воспитываются только въ кругу лучшаго общества» и выраженіе, правда довольно странное, что «Дельвигъ набросилъ на свою классическую музу душегрѣйку новѣйшаго унынія». Эти мелочи повторялись и пересмѣивались на всѣ лады.

Лучшее меньшинство, съ Пушкинымъ во главѣ, привѣтствовало въ Кирѣевскомъ новую крупную силу—литератора и журналиста, какого не доставало русской печати: этимъ объ-

ясняется то единодушіе, съ которымъ это меньшинство откликнулся черезъ годъ на призывъ Кирѣвскаго и приняло участіе въ его журналѣ.

Но всѣхъ горячѣе принялъ къ сердцу начало дѣятельности своего юнаго друга его давній руководитель—Жуковский. «Я читалъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» — пишетъ онъ Авдотьѣ Петровнѣ: «статью Ванюши о Пушкинѣ и порадовался всѣмъ сердцемъ. Благословляю его обѣими руками писать; умная, сочная, философическая проза. Пускай теперь работаетъ головою и хорошенько ее омеблируетъ—отвѣчаю, что у него будетъ прекрасный языкъ для мыслей. Какъ бы было хорошо, когда бы онъ могъ года два посвятить нѣмецкому университету!—Онъ можетъ быть писателемъ! Но не теперь еще.»—Въ слѣдующемъ письмѣ Жуковскаго читаемъ: «Но я желалъ бы, чтобы Иванъ Васильевичъ постарался сдѣлаться писателемъ; то есть, повѣривъ бы мнѣ, что можетъ со временемъ быть имъ, принялся бы къ этому великому званію готовиться, но не такъ, какъ у насъ обыкновенно готовятся, а такъ, какъ онъ *можетъ самъ*».—Въ третьемъ письмѣ Жуковский пишетъ: «Я увѣренъ, что Ваня можетъ быть хорошимъ писателемъ. У него все для этого есть: жаръ души, мыслящая голова, благородный характеръ, талантъ авторскій. Нужно пріобрѣсти знанія поболѣе и познакомиться болѣе съ языками. Для перваго—ученье; для послѣдняго—навыкъ писать. Могу сказать ему одно: учись и пиши; сдѣлаешь честь своей Россіи и проживешь не даромъ. Мнѣ кажется, что ему надобно службу считать не главнымъ, а посвятить жизнь свою авторству. Что же писать—то скажетъ ему что талантъ» *).

*) Жуковский не обманулся въ Кирѣвскомъ. Черезъ двадцать лѣтъ, по поводу отзыва послѣдняго о переводѣ Одиссеи, Василій Андреевичъ пишетъ ему: „Я употребилъ всѣ свои силы, чтобы сохранить въ своемъ языкѣ эту свѣжесть первобытнаго языка Гомерова, и это мнѣ, въ переводѣ, послѣ всѣхъ конвульсивныхъ измѣненій языка поэтическаго, происшедшихъ съ этого времени, было конечно труднѣе, нежели самому Гомеру; и для меня радостно слышать, что ты, знатокъ и владыка могучій русскаго языка, нашелъ это въ моемъ переводѣ“.

Съ такими пожеланіями и надеждами приступалъ къ дѣлу двадцатичетырехлѣтній Кирѣевскій. Его влекла дѣятельность литературно-общественная; любимую его мечтою было изданіе журнала. Но осуществленіе этой мечты было пока отсрочено событіемъ иного порядка.

Проводивъ въ іюлѣ 1829 года брата за границу, куда Петръ Васильевичъ поѣхалъ слушать лекціи въ германскихъ университетахъ, Иванъ Васильевичъ въ августѣ рѣшился искать руки своей троюродной сестры Натальи Петровны Арбеңевой *), но на этотъ разъ безуспѣшно. Отказъ такъ глубоко подѣйствовалъ на его душу и тѣло, что врачи, опасаясь за его здоровье, стали совѣтовать ему тоже ѣхать за границу.

*) Бабушка ея по матери, Наталья Аѳанасьевна Вельяминова, была сестрою Варвары Аѳанасьевны Юшковой, матери Авдотьи Петровны.

III.

Между тѣмъ Петръ Васильевичъ спокойно жилъ и учился въ Мюнхенѣ. Узнавъ изъ письма брата (къ сожалѣнію не сохранившагося) о постигшей его сердечной неудачѣ, онъ пишетъ ему въ Ноябрь 1829 года длинное, задушевное письмо. Въ этой братской исповѣди мы впервые встрѣчаемся съ Петромъ Кирѣевскимъ, такъ сказать, лицомъ къ лицу: до сихъ поръ мы лишь вскользь упоминали о немъ, слѣдя за умственнымъ ростомъ старшаго брата. Выписываемъ изъ письма Петра Васильевича все наиболѣе рисующее его самого и его отношеніе къ брату.

«Я получилъ твое письмо!—Какое горькое чувство оно дало мнѣ! и вмѣстѣ какое высокое, утѣшительное!—На твою искреннюю, горячую дружбу—не слова должны быть отвѣтомъ. Глубокія, неизгладимыя черты, которыя твое письмо оставило въ моемъ сердцѣ, будутъ для меня вѣчнымъ талисманомъ, укрѣпляющимъ и возвышающимъ душу,—и пусть его дѣйствіе будетъ тебѣ моей благодарностью.—Мнѣ тяжело было чувствовать, какъ мало я оправдываю то высокое понятіе, которое ты имѣешь обо мнѣ; но твоя *огра* въ меня даетъ мнѣ новыя силы: она имѣетъ силу творческую».

«Съ какой гордостью я тебя узналъ въ той высокой твердости, съ которой ты принялъ этотъ первый, тяжелый ударъ судьбы! Такъ! Мы родились не въ Германіи, у насъ есть *отечество*. И можетъ быть—отдаленіе отъ всего роднаго особенно развило во мнѣ глубокое *религіозное* чувство—можетъ быть

даже и этотъ жестокой ударъ былъ даромъ неба. Оно мнѣ дало тяжелое, мучительное чувство, но вмѣстѣ чувство глубокое, живое; оно тебя вынесло изъ вялаго круга всedневныхъ впечатлѣній обыкновенной жизни, которая можетъ быть еще мучительнѣе. Оно вложило въ твою грудь пылающій уголь; и тотъ внутренній голосъ, который въ минуту рѣшительную далъ тебѣ силы, сохранилъ тебя отъ отчаянія, былъ голосъ Бога:

„Возстань, пророкъ! и виждь и внимай:
Исполниись волею моею
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!“—

«Ты хорошо знаешь всѣ нравственныя силы Россіи: уже давно она жаждетъ живительнаго слова,—и среди всеобщаго мертваго молчанія,—какія имена оскверняютъ нашу литературу!—

«Тебѣ суждено горячимъ, энергическимъ словомъ оживить умы русскіе, свѣжіе, полныя силъ, но зачерствѣлыя въ тѣснотѣ нравственной жизни. Только побывавши въ Германіи, вполне понимаешь великое значеніе Русскаго народа, свѣжесть и гибкость его способностей, его одушевленность. Стоить поговорить съ любымъ нѣмецкимъ простолудиномъ, стоитъ сходить раза четыре на лекціи Минхенскаго Университета, чтобы сказать, что недалеко то время, когда мы ихъ опередимъ и въ образованіи.—Здѣсь много великихъ ученыхъ,—но всѣ они собраны изъ разныхъ государствъ Германіи однимъ челоукомъ—королемъ—который дѣлаетъ все, что можетъ; это еще не Университетъ: что могутъ они сдѣлать, когда ихъ слова разносятся по вѣтру? Надежды, которыя Университетъ подавать можетъ, должны мѣряться и образовательностью слушателей:—а знаешь ли, что въ Московскомъ Университетѣ едва ли найдешь десятокъ такихъ плоскихъ и бездушныхъ фізіономій, изъ какихъ составленъ весь Минхенскій? Знаешь ли, что во всемъ Университетѣ едва-ли найдешь между студентами челоука пять, съ которыми бы не стыдно было познакомиться? Что большая часть спитъ на лекціяхъ Окена и читаетъ романы на лекціяхъ Герреса? что дни три тому назадъ Тиршъ,

одинъ изъ первыхъ ученыхъ Германіи, долженъ былъ имъ проповѣдовать на лекціи, что для того, чтобы сдѣлать успѣхи въ филологическихъ наукахъ, не должно скупиться и запастись по крайней мѣрѣ *латинской грамматикой*! потому что многіе изъ нихъ приходятъ къ нему, прося позволенія просмотрѣть грамматику Цумпта, которая стоитъ 1 талеръ!—И это тотъ Университетъ, гдѣ читаютъ Шеллинги, Окены, Герресы, Тирши. Что еслибы *одинъ* изъ нихъ былъ въ Москвѣ? Какая жизнь закипѣла бы въ Университетѣ! Когда и тяжелый, педантическій Давыдовъ могъ возбудить энтузіазмъ!—Но это ты все увидишь:—если и не рѣшишься ѣхать на Минхенъ, то увидишь и въ другихъ государствахъ Германіи».

«Что тебѣ сказать о томъ, что я дѣлаю въ Минхенѣ? Я хотя и занимаюсь довольно дѣятельно, но сдѣлалъ очень немного; главные мои занятія: философія, латинскій языкъ и отчасти исторія; но медленность моего чтенія не переимѣнилась и я прочелъ очень немного: больше пользы получилъ отъ видѣннаго и слышаннаго, и вообще отъ испытаннаго».

«Самыя замѣчательныя изъ моихъ впечатлѣній въ Минхенѣ было свиданіе съ Шеллингомъ и Океномъ и три концерта Паганини, который уѣхалъ отсюда на прошедшей недѣлѣ. Дѣйствіе, которое производитъ Паганини, невыразимо: я ничего не слыхалъ подобнаго, и хотя, когда шелъ его слушать, готовился ко всему необыкновеннѣйшему, но онъ далеко превзошелъ все, что я могъ вообразить, и это воспоминаніе останется на всю жизнь. Довольно взглянуть на него, чтобы сказать что это человѣкъ необыкновенный и—хотя черты совсѣмъ другія,—въ выраженіи глазъ его много сходнаго съ Мицкевичемъ».

Мы выписали мевѣ половины письма, опустивъ все, что Петръ Васильевичъ пишетъ о предстоящей поѣздкѣ брата, входя въ мельчайшія подробности его предполагаемаго путешествія.

Письмо это въ біографическомъ отношеніи неоцѣненно: оно рисуетъ намъ *всего* человѣка такимъ, каковъ онъ остался до конца дней своихъ. Въ самомъ дѣлѣ, на двадцать второмъ

году жизни мы видимъ въ Петрѣ Васильевичѣ всѣ отличительныя черты его позднѣйшаго характера: горячую любовь къ брату, убѣжденіе въ его высокомъ призваніи и самое скромное мнѣніе о собственныхъ способностяхъ; непоколебимую вѣру въ Россію и въ русское просвѣщеніе; трудолюбіе и постоянство въ работѣ; предпочтеніе впечатлѣній жизненныхъ—книжнымъ; даже любовь къ музыкѣ.

Жуковский, узнавъ о намѣреніи Ивана Васильевича ѣхать за границу, писалъ ему:

«Видѣсто того, чтобы отвѣчать твоей матери, пишу прямо къ тебѣ, мой милый Иванъ Васильевичъ. Она меня обрадовала, увѣдомивъ, что ты собираешься путешествовать и (*qui plus est*) учиться. Признаюсь, то, что ты до сихъ поръ былъ, казалось мнѣ по сію пору тебѣ совершенно неприличнымъ и нестоящимъ того, что ты есть, то есть то, что ты быть можешь. Ты терялъ свою молодость въ московскомъ свѣтѣ. Всякій такъ называемый большой свѣтъ есть жалкая сцена для дѣятельности ума и души, а московскій большой свѣтъ и подавно. Ты попалъ въ сословіе архивныхъ *dandy* и пропалъ для той прекрасной дѣятельности, для которой создала тебя добрая природа, къ тебѣ особенно добрая. Я не много читалъ *твоего*, одну только статью; но по ней готовъ увѣрять, что ты могъ бы сдѣлаться писателемъ замѣтнымъ и полезнымъ для отечества. Но тебѣ недостаетъ классическихъ знаній. Въ убійственной атмосферѣ московскаго свѣта не только не соберешь ихъ, но и къ тѣмъ ничтожнымъ, которыми имѣешь, сдѣлаешься равнодушнымъ. День за днемъ будетъ проходить и каждый день оставитъ на душѣ свой мертвительный слой, который со временемъ обратится въ толстую кору, сквозь которую и душа, и талантъ, и сердце не будутъ въ состояніи пробиться. Гете говоритъ: талантъ зрѣетъ въ уединеніи, а характеръ въ обществѣ. Въ томъ обществѣ, которое ты для себя выбралъ, характеръ не созрѣетъ (ибо нѣтъ способовъ ни мѣняться мнѣніями, ни дѣйствовать передъ знающими судьями), а уединенія ты самъ себя лишилъ самымъ бѣдственнымъ образомъ. Все это оправдываетъ радость мою

при извѣстіи о твоёмъ намѣреніи ѣхать за границу. Теперь совѣтъ. Я на твоёмъ мѣстѣ (прежде путешествія, которое должно дополнить занятія кабинетныя) прежде выбралъ бы года два постоянного пребыванія въ такомъ мѣстѣ, гдѣ можно солидно выучиться, и не въ Парижѣ, а въ Германіи, и въ Германіи предпочтительно въ Берлинѣ. Берлинъ теперь есть главное мѣсто просвѣщенія. Тамъ найдешь все: университетъ отличный, безъ всякихъ неудобствъ университетской жизни; общество безъ излишней приманки разсѣянности; всѣ способы познакомиться съ изящными искусствами и наконецъ самый отборный кругъ людей ученыхъ. Думаю такъ же, что по отношенію къ общественной нравственности Берлинъ заслуживаетъ предпочтенія. Парижъ полезенъ только для вооруженныхъ знаніями и мыслями. Для образованія онъ слишкомъ блистателенъ. Публичныя лекціи въ Парижѣ болѣе роскошь нежели солидное наставленіе. Парижъ прекрасно послѣ Берлина; до Берлина это десертъ прежде супа и бифтекса. Заморить голодъ, а не накормить, и еще желудокъ истощить. Итакъ, рѣшился и поѣзжай въ Берлинъ; употреби года два на жизнь университетскую; потомъ года два на путешествіе въ особенности по Франціи, Англіи, Швейцаріи и Италіи, въ концѣ четвертаго года будетъ готова и Греція. Возвратись черезъ южную Россію, на которую такъ же употреби годъ. Въ теченіи этого времени пиши для себя по русски, ломай языкъ и создай чистый, простой, ясный языкъ для своихъ мыслей. Со всѣмъ этимъ возвратись и пиши. Общаю тебѣ, что будешь хорошимъ писателемъ. Если рѣшишься ѣхать въ Берлинъ—то увѣдомь: я наготовлю тебѣ рекомендаціи и увѣренъ, что сдамъ тебя на руки такимъ людямъ, которые укажутъ тебѣ дорогу и помогутъ идти по ней. Обнимаю тебя, а ты обними мать и всѣхъ своихъ».

Изъ этого письма видно, какія надежды возлагалъ на Кирѣвскаго Жуковский, что онъ считалъ для него необходимымъ и какъ основательно самъ онъ зналъ состояніе современныхъ ему центровъ европейской образованности. Въ началѣ Января 1830 года Иванъ Васильевичъ выѣхалъ изъ

Москвы и 11-го Января былъ въ Петербургѣ. Здѣсь его съ нетерпѣніемъ ждали Жуковскій и товарищи: Кошелевъ, Титовъ, Одоевскій, Мальцовъ.—Жуковскій помѣстилъ его у себя, познакомилъ съ Пушкинымъ, Крыловымъ и другими, показывалъ ему Эрмитажъ; друзья ни на минуту его не оставляли. Словомъ, было сдѣлано все, чтобы развлечь огорченного скитальца и облегчить ему разлуку съ родиной. При этомъ Жуковскій, со свойственнымъ ему знаніемъ человѣческаго сердца, какъ и въ приведенномъ выше письмѣ,—не коснулся до свѣжей сердечной его раны. Иванъ Васильевичъ, пробывъ въ Петербургѣ десять дней, черезъ Ригу направился въ Берлинъ, снабженный всюду рекомендательными письмами Жуковского, который, проводивъ его, писалъ Авдотѣ Петровнѣ: «Для меня онъ былъ минутнымъ милымъ явленіемъ, представителемъ яснаго и печальнаго, но въ обоихъ образахъ драгоцѣннаго прошедшаго, и веселымъ образомъ будущаго, ибо, судя по немъ и по издателямъ нашего домашняго журнала (особливо по знаменитому автору заговора Катилины) и еще по Мюнхенскому нашему медвѣженку, въ вашей семьѣ заключается цѣлая династія хорошихъ писателей—пустите ихъ всѣхъ по этой дорогѣ! Дойдутъ къ добру. Ваня—самое чистое, доброе, умное и даже философическое твореніе. Его узнать покороче весело».

Письмо Ивана Васильевича къ матери изъ Берлина отъ 11-го (23-го) Февраля начинается такъ:

«Сегодня рожденіе брата. Какъ-то проведете вы этотъ день? Какъ грустно должно быть ему! Этотъ день долженъ быть для всѣхъ насъ святымъ: онъ далъ нашей семьѣ лучшее сокровище. Понимать его возвышаетъ душу. Каждый поступокъ его, каждое слово въ его письмахъ обнаруживаетъ не твердость, не глубину души, не возвышенность, не любовь, а прямо величіе. И этого человѣка мы называемъ братомъ и сыномъ!»

Изъ этихъ словъ видно, что если Петръ Васильевичъ благоговѣлъ передъ старшимъ братомъ, то и послѣдній платилъ ему тѣмъ же. Такая восторженность отношеній могла бы

теперь показаться намъ странно, если бы неразрывное единодушіе братьевъ не было доказано потомъ много разъ въ тяжелые для семьи дни и не было наконецъ завершено тѣмъ простымъ, но убѣдительнымъ заключеніемъ, что одинъ изъ нихъ не смогъ пережить другаго. Но объ этомъ рѣчь впереди. Въ томъ же письмѣ изъ Берлина находимъ мы указаніе на то, насколько Иванъ Васильевичъ овладѣлъ своими чувствами. «Зачѣмъ спрашиваете вы, борюсь-ли я самъ съ собою?» пишетъ онъ: «Вы знаете, что у меня довольно твердости, чтобы не переживать двадцать разъ одного и того же. Нѣтъ, я давно уже пересталъ бороться съ собою. Я покоенъ, твердъ и не шатаюсь изъ стороны въ сторону, иду вѣрнымъ шагомъ по одной дорогѣ, которая ведетъ прямо къ избранной цѣли....»—«На жизнь и на каждую ея минуту я смотрю какъ на чужую собственность, которая повѣрена мнѣ на честное слово и которую слѣдовательно я *не могу* бросить на вѣтеръ», Въ концѣ письма, по поводу откровенности съ друзьями, онъ говоритъ: «Либо полное участіе, либо никакого—было моимъ всегдашнимъ правиломъ, и я тѣмъ только дѣлюсь съ другими, что они могутъ *вполнѣ* раздѣлить со мною».

Изъ Берлинскихъ профессоровъ болѣе всѣхъ увлекъ Ивана Васильевича художественностью изложенія и богатствомъ мыслей географъ Риттеръ, о которомъ онъ съ восторгомъ говоритъ въ своихъ письмахъ. Далѣе, онъ слушалъ юриста Савиньи и богослова Шлейермахера; но предметъ, читаемый первымъ,—римское право—сравнительно мало занималъ Кирѣевскаго, а второй не удовлетворилъ его своимъ неопредѣленнымъ положеніемъ въ вопросѣ объ отношеніи между вѣрою и наукою. Впрочемъ то, что говоритъ по этому поводу Иванъ Васильевичъ, не раскрываетъ намъ его собственнаго религіознаго взгляда: онъ ограничивается указаніемъ на то, что Шлейермахеръ мыслить не какъ вѣрующій человекъ и не какъ ученый только, то есть, что онъ не послѣдователенъ въ своихъ выводахъ. Общее впечатлѣніе, производимое длиннымъ разсужденіемъ Кирѣевскаго по этому поводу, таково, что онъ самъ былъ въ это время расположенъ вѣрить, но еще

не вѣрилъ: это совпадаетъ съ тѣмъ, что мы видѣли выше въ его «Обозрѣніи».

Но самую крупною величиною въ Берлинскомъ университетѣ былъ старикъ Гегель. Однако Иванъ Васильевичъ не сразу пошелъ его слушать—Гегель читалъ въ одни часы съ его любимымъ Риттеромъ,—а услышавъ, былъ очень разочарованъ его старческимъ говоромъ. Зато личное знакомство съ знаменитымъ философомъ доставило ему большое удовольствіе. Иванъ Васильевичъ написалъ ему письмо, прося позволенія быть у него. Гегель отвѣчалъ ему слѣдующею запискою: «Mein Herr! Es wird mir eine Ehre seyn, Ihren Besuch zu empfangen; ich bin Vormittags gewöhnlich bis 12 Uhr (morgen bis 11 Uhr) zu Hause. Nur muss ich gestehen hat der Ton Ihres gefälligen Billets mich in eine Befangenheit gegen Sie gesetzt, die Sie mir, da ich auch durch meine äusserliche Stellung ganz zugänglich bin, auf eine einfache Weise erspart haben würden. Mit aller Hochachtung Ihr ergebenster Prof. Hegel. Berlin d. 23 März 30» *). Являсь въ назначенный день, Иванъ Васильевичъ былъ принятъ очень ласково и потомъ былъ у Гегеля нѣсколько разъ. Тамъ онъ познакомился съ другими учеными; любопытенъ его отзывъ о профессорѣ философіи Мишелетѣ, какъ рисующій отношеніе къ Гегелю многихъ его менѣе талантливыхъ учениковъ: «Мишелетъ немного не доварилъ своихъ мнѣній. Онъ ученикъ и приверженецъ Гегеля, но, кажется, понимаетъ хорошо только то, что Гегель сказалъ, а что непосредственно слѣдуетъ изъ его системы, то для Мишелета еще не ясно и онъ какъ будто боится высказать свое мнѣніе прежде своего учителя, не зная навѣрное, сойдется-ли съ нимъ, или нѣтъ.

*) Переводъ. „Милостивый Государь! Посѣщеніе Ваше я почту за честь. Я бываю утромъ дома обыкновенно до 12 (завтра до 11) часовъ. Однако я долженъ признаться, что тонъ Вашего любезнаго письма привелъ меня по отношенію къ Вамъ въ смущеніе, отъ котораго Вы легко могли бы меня избавить, такъ какъ я и по моему вѣшнему положенію вполне доступенъ. Съ полнымъ уваженіемъ преданный Вамъ проф. Гегель. Берлинъ, 23 Марта 30“.

Большая часть нашихъ разговоровъ, или, лучше сказать, нашихъ споровъ, кончалась такъ: «Ja wohl! Sie können vielleicht Recht haben, aber diese Meinung gehört vielmehr zu dem Schellingischen, als zu dem Hegelischen System» *).

Въ общемъ на Ивана Васильевича произвело сильное впечатлѣніе это собраніе въ одномъ мѣстѣ свѣтилъ науки, и онъ пишетъ: «Не знаю, какъ выразить то, до сихъ поръ неиспытанное расположение духа, которое *насилъно* и какъ чародѣйствомъ овладѣло мною при мысли: я *окруженъ первоклассными умами Европы!*» — Далѣе, подъ 16-мъ Марта, вспоминая бывшую наканунѣ годовщину смерти Дмитрія Веневитинова, онъ пишетъ: «Быль-ли вчера кто нибудь подъ Симоновымъ? Что мои розы и акаціи? Еслибы онъ, то есть Веневитиновъ, былъ на моемъ мѣстѣ, какъ прекрасно бы отозвалось въ нашемъ отечествѣ испытанное здѣсь!» Эти слова снова напоминаютъ намъ, какъ строго относился писавшій къ самому себѣ.

Берлинскій театръ не понравился Кирѣевскому: онъ нашелъ, что публика нѣмецкая не достаточно развита — не лучше нашей — и что актеры слишкомъ угождаютъ ея изменнымъ вкусу.

Пробывъ въ Берлинѣ немного менѣе двухъ мѣсяцевъ, Иванъ Васильевичъ уѣхалъ въ Дрезденъ. Осмотрѣвъ тамошнюю картинную галлерею, онъ пишетъ сначала: «Рафаэлевой Мадонны я не понялъ», но послѣ, прибавляетъ: «Теперь только чувствую, какъ глубоко чувствовалъ Рафаэль, когда вмѣсто всякаго выраженія своей Мадоннѣ далъ только одно выраженіе — робкой невинности». Трудно объяснить, почему Кирѣевскій, чуткій ко всему прекрасному, былъ такъ мало затронутъ величайшимъ художественнымъ произведеніемъ новаго времени, котораго непосредственное дѣйствіе испыталъ всякій, его видѣвшій. Быть можетъ, это была простая случайность. Въ Дрезденѣ Иванъ Васильевичъ пробылъ всего три

*) Переводъ. „Конечно, Вы, можетъ быть, и правы, но это мнѣніе принадлежитъ скорѣе къ Шеллинговской, чѣмъ къ Гегелевской системѣ“.

дня и вмѣстѣ съ Рожалинымъ поспѣшилъ въ Мюнхенъ—къ брату, который по его словамъ «остался тотъ же глубокой, горячій, несокрушимо одинокій, какимъ былъ и будетъ во всю жизнь. При этой силѣ и теплотѣ души, при этой твердости и простотѣ характера, которыя дѣлаютъ его такъ высокимъ въ глазахъ немногихъ, имѣвшихъ возможность и умѣнье его понять—ему не доставало одного: опытности жизни, и это именно то, что онъ теперь такъ быстро начинаетъ приобретать. Необходимость сообщаться съ людьми сдѣлала его и общительнѣе, и смѣлѣе, уменьшивъ нѣсколько ту недовѣрчивость къ себѣ, которая могла бы сдѣлаться ему неизлѣчимо вредною, если бы онъ продолжалъ еще свой прежній образъ жизни».

Черезъ Петра Васильевича и старшій братъ познакомился съ Шеллингомъ и Океномъ, а изъ русскихъ—съ Тютчевымъ, и сталъ посѣщать лекціи обоихъ знаменитыхъ ученыхъ и записывать ихъ. О лекціяхъ Шеллинга онъ говоритъ съ нѣкоторымъ разочарованіемъ, потому что «противъ прошлогодней его системы новаго не много»—замѣчаніе, показывающее, насколько основательно Иванъ Васильевичъ былъ уже знакомъ съ предметомъ. Наконецъ всѣ трое—братья Кирѣевскіе и Рожалинъ—стали учиться по итальянски, и Иванъ Васильевичъ увлекся Аріостомъ, о которомъ говоритъ: «Онъ грѣшетъ, утѣшаетъ и разсѣваетъ. Міръ его фантазій—это теплая, свѣтлая комната, гдѣ можетъ отдохнуть и отогрѣться, кого морозъ и ночь застали въ пути».

Въ Сентябрѣ Петръ Васильевичъ съ Рожалинымъ уѣхали въ Вѣну, гдѣ весело провели мѣсяцъ въ осмотрѣ произведеній искусства и толкотнѣ по городу и его окрестностямъ. Иванъ Васильевичъ остался въ Мюнхенѣ писать письма и доучиваться по итальянски, съ тѣмъ, чтобы по возвращеніи товарищей ѣхать въ Италію. Но всѣ эти мечты разлетѣлись прахомъ при грозной вѣсти о холерѣ... Это была страшная *первая холера* 1830 года. Иванъ Васильевичъ бросилъ все и поскакалъ домой, посылая съ дороги тревожныя и торопливыя письма матери. Петръ Васильевичъ, вернувшись въ Мюн-

хенъ, уже не засталъ тамъ брата и, видя невозможность догнать его, написалъ ему въ Варшаву, умоляя беречь себя, а самъ выѣхалъ черезъ нѣсколько дней. Въ письмѣ къ матери передъ этимъ (еще изъ Вѣны) Петръ Васильевичъ говоритъ: «Кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не маливался! Это говорится не даромъ: и я въ полнотѣ узналъ это вмѣстѣ и грѣющее, и возвышающее чувство молитвы только здѣсь, внѣ Россіи, въ далеки отъ васъ. Только здѣсь, гдѣ я раздвоенъ, гдѣ лучшая часть меня за тысячи верстъ, внолнѣ чувствуешь, осязаешь эту громовую силу, которая называется судьбою и передъ ней благоговѣешь; чувствуешь полную бессмысленность мысли, чтобы она была безъ значенія, безъ разума, и остается только одинъ выборъ между вѣрою или сумашествіемъ. Что до меня касается, то я спокоенъ, какъ только можно быть, и дѣлаю все, что могу, чтобы вытѣснить изъ сердца всякое бесплодное беспокойство, оставя одну молитву».

Старшій братъ вернулся въ Москву 16 Ноября, а младшаго задержалъ въ дорогѣ вотъ какой случай: «Петръ Васильевичъ проѣхалъ черезъ Варшаву наканунѣ возмущенія. Курьеръ, привезшій извѣстіе о вспыхнувшемъ возмущеніи, пріѣхалъ въ Кіевъ нѣсколькими часами прежде Кирѣвскаго. Въ Кіевѣ, въ полиціи отказались дать свидѣтельство для полученія подорожной. Полиціи показалось страннымъ, что чело-вѣкъ спѣшить въ чумной городъ, изъ котораго всѣ старались выѣхать. Польское окончаніе фамиліи на *скій*, паспортъ, въ которомъ было прописано, что при Г. Кирѣвскомъ чело-вѣкъ, между тѣмъ какъ онъ возвращался одинъ, ибо чело-вѣкъ былъ отпущенъ нѣсколько мѣсяцевъ прежде—всѣ эти обстоятельства показались подозрительными, и полиція не дозволила выѣхать изъ города безъ высшаго разрѣшенія. Мюнхенскаго студента потребовали явиться къ генераль-губернатору: тогда генераль-губернаторомъ былъ Б. Я. Княжнинъ. Онъ принялъ Кирѣвскаго строго и сухо, предложилъ ему нѣсколько вопросовъ и, выслушавъ отвѣты, въ раздумѣ началъ ходить по комнатѣ.

Молодой Кирѣвскій, не привыкшій къ такимъ *начальниче-*

скимъ приемамъ, пошелъ вслѣдъ за нимъ. «Стойте молодой человѣкъ!» — воскликнулъ генераль-губернаторъ, закипѣвшій отъ негодованія: «Знаете ли вы, что я сейчасъ же могу засадить васъ въ казематъ, и вы сгниете тамъ у меня, и никто никогда объ этомъ не узнаетъ?»

— «Если у васъ есть возможность это сдѣлать», — спокойно отвѣчалъ Кирѣвскій, «то вы не имѣете права это сдѣлать!» — «Ступайте», сказалъ генераль-губернаторъ, нѣсколько устыдившись своей неумѣстной вспыльчивости и въ тотъ же вечеръ приказалъ выдать подорожную *)). — Всѣхъ своихъ Кирѣвскіе застали здоровыми.

Такъ неожиданно прервалось въ самомъ началѣ путешествіе Ивана Васильевича. Жуковскій, узнавъ о его возвращеніи, писалъ ему: «Холера заставила тебя сдѣлать то, что ты всегда сдѣлаешь, то есть забыть себя и все отдать *за милыхъ...* Прости, мой милый Курцій. Думая о томъ, каковъ ты и какъ совершенно во всемъ похожъ на свою мать, убѣждаюсь, что ты созданъ болѣе для внутренней, душевной жизни, нежели для практической на *нашей сценѣ*. Живи для пера и для нѣсколькихъ сотъ крестьянъ, которыхъ судьба отъ тебя зависитъ: довольно поживы для твоего сердца». Вскорѣ послѣ этого Иванъ Васильевичъ написалъ небольшое произведеніе, которое живо рисуетъ его тогдашнее настроеніе: это — сказка «Опаль», помѣченная 30 Декабря 1830 года, но дошедшая до насъ въ позднѣйшей передѣлкѣ для печати. Внѣшность ея напоминаетъ Аріоста, а содержаніе вратѣ таково.

Непобѣдимъ сирійскій царь Нуррединъ: онъ «никогда не желалъ невозможнаго, никогда не искалъ несбыточнаго, никогда не любилъ небывалаго, а потому и никакое колдовство не можетъ на него дѣйствовать». Но чернокнижникъ-дервишъ, по просьбѣ осажденнаго Нуррединомъ китайскаго царя Оригелла, заклинаніями сводитъ съ неба звѣзду Нурредину, заключаетъ ее въ опаль и перстень съ этимъ опаломъ пере-

*)) Разсказъ этотъ мы дѣликомъ выписываемъ изъ „Матеріаловъ“, предпосланныхъ 1-му тому сочиненій И. В. Кирѣвскаго, стр. 79.

даетъ Нурредяну. Сирійскій царь, дотогѣ не любившій ничего кромѣ бранной славы, вглядывается въ опалъ и видитъ въ немъ огненную искорку; искорка разрастается въ солнце: на это солнце переносится Нуррединъ, слышитъ дивную музыку и встрѣчаетъ красавицу—олицетвореніе музыки. Съ тѣхъ поръ онъ почти все время проводитъ въ созерцаніи опала и въ бесѣдахъ съ Дѣвицей-Музыкой, пока наконецъ она не снимаетъ съ его руки перстня: съ нимъ исчезаетъ очарованіе, а между тѣмъ оставленное правителемъ на произволъ судьбы царство впадаетъ во всевозможныя бѣдствія, и наконецъ тотъ же Оригеллъ овладѣваетъ его столицей и, взявъ Нурредина въ плѣнъ, великодушно предлагаетъ ему почести и богатства, какъ подданному. Но все земное уже потеряло цѣну въ глазахъ Нурредина. «Благодарю тебя, государь»,—отвѣчаетъ онъ: «но изъ всего, что ты отнялъ у меня, я не жалѣю ни о чемъ. Когда дорожилъ я властію, богатствомъ и славою, умѣлъ я быть и сильнымъ и богатымъ. Я лишился сихъ благъ только тогда, когда пересталъ желать ихъ, и недостойнымъ попеченія моего почитаю я то, чему завидуютъ люди. Суета всѣ блага земли! Суета все, что обольщаетъ желанія человѣка, и чѣмъ плѣнительнѣе, тѣмъ менѣе истинно, тѣмъ болѣе суета! Обманъ все прекрасное, и чѣмъ прекраснѣе, тѣмъ обманчивѣе; ибо лучше, что есть въ мірѣ, это—мечта».

IV.

Войдя въ прежнюю жизненную колею и собравшись съ мыслями Иванъ Васильевичъ вернулся къ давнишнему своему намѣренію — издавать журналъ. Онъ далъ ему имя «Европеецъ»: имя это показываетъ, какъ далеку былъ еще тогда Кирѣевскій отъ яснаго разумѣнія и открытаго выраженія тѣхъ началъ, которыя высказалъ печатно черезъ двадцать лѣтъ, — хотя, какъ мы видѣли, предчувствіе ихъ уже начинало бродить въ немъ.

Ни одно русское литературное предпріятіе не встрѣчало еще заранѣе такого единодушнаго сочувствія, какъ «Европеецъ»: все, что было въ Россіи живаго, даровитаго — все готово было примкнуть къ молодому журналисту. Лучшіе писатели предложили ему свое сотрудничество. Причинъ тому было много: безкорыстіе и идеальное настроеніе издателя, его личныя связи почти со всѣми тогдашними поэтами; всего же болѣе, быть можетъ, примѣръ Жуковскаго, который былъ какъ бы крестнымъ отцомъ своего воспитанника и любимца на новомъ для него поприщѣ. Широкое поле дѣятельности открывалось передъ нимъ...

Вотъ оглавленіе первыхъ двухъ книжекъ «Европейца»:

№ 1. — Девятнадцатый вѣкъ, *И. В. Кирѣевскаго*. — Сказка о спящей царевнѣ, *В. А. Жуковскаго*. — Императоръ Іуліанъ, переводъ изъ Вильмена, *Д. С.* — О слогѣ Вильмена, *И. В. Кирѣевскаго*. — Элегія *Е. А. Баратынскаго*. — Е. А. Сербеевой, Ау, стихотворенія *Н. М. Языкова*. — Чернецъ, повѣсть, съ нѣ-

мецкаго.—Письма Гейне о картинной выставкѣ.—Критика: Обзорѣніе Русской Литературы, *И. В. Кирѣвскаго*.—Письма изъ Парижа Лудвига Берне.—Смѣсь.—Литературныя новости, *А.*—Сѣверо-американскій сенатъ, *С.*—Мысли изъ Жанъ-Поля, *Д.*—Горе отъ ума на московской сценѣ, *И. В. Кирѣвскаго*.—*Е.* Письмо изъ Лондона.

№ 2.—Война мышей и лягушекъ, *В. А. Жуковскаго*.—Перстень, повѣсть въ прозѣ, *Е. А. Баратынскаго*.—Воспоминаніе, стихотвореніе *Н. М. Языкова*.—Карлъ Марія Веберъ, съ нѣмецкаго.—Конь, *Н. М. Языкова*.—Элегія, *ею же*.—Языкову, *Е. А. Баратынскаго*.—Письма Гейне, окончаніе.—Современное состояніе Испаніи, статья, составленная *П. В. Кирѣвскимъ*.—Иностранкѣ, *А. С. Хомякова*.—Ей же, *А. С. Хомякова*.—Обзорѣніе Русской Литературы, *И. В. Кирѣвскаго*.—О Бальзакѣ.—Смѣсь. Письмо изъ Парижа, *А. И. Тургенева*. Письмо изъ Берлина.—Русскіе Альманахи, *И. В. Кирѣвскаго*.—Антикритика, *Е. А. Баратынскаго*.—О небесныхъ явленіяхъ.

При такомъ подборѣ именъ успѣхъ, казалось, былъ обезпеченъ... Но враги не дремали.

Успѣхъ Кирѣвскаго значилъ—успѣхъ новаго направленія повременной печати и гибель стараго—разореніе Булгаринныхъ съ братіей. Допустить, чтобы такой журналъ сталъ на ноги и приобрѣлъ подписчиковъ, значило—уступить и доходъ и почетъ, уступить безъ боя,—ибо открытый бой съ такимъ соперникомъ пришелся бы не подъ силу. И вотъ пущено было въ ходъ болѣе надежное средство—клевета. Мы не знаемъ, кто именно донесъ на Кирѣвскаго; но что доносъ былъ—это, кажется, не подлежитъ сомнѣнію. И вотъ въ февралѣ 1832 г. Попечитель Московскаго Учебнаго Округа князь С. М. Голицынъ получилъ отъ Министра Народнаго Просвѣщенія князя К. А. Ливена такую бумагу: «Господинъ Генералъ-Адъютантъ Бенкендорфъ сообщилъ мнѣ, что въ № 1-мъ издаемаго въ Москвѣ Иваномъ Кирѣвскимъ журнала подъ назвіемъ *Европеецъ*, статья *Девятнадцатый вѣкъ* есть не что иное какъ разсужденіе о высшей политикѣ, хотя въ началѣ

оной сочинитель и утверждаетъ, что онъ говоритъ не о политикѣ, а о литературѣ. Но стоитъ обратить только нѣкоторое вниманіе, чтобы видѣть, что сочинитель, разсуждая будто бы о литературѣ, разумѣетъ совсѣмъ иное, что подъ словомъ *просвѣщеніе* онъ понимаетъ *свободу*, что *дѣятельность разума* означаетъ у него *революцію*, а *искусно отысканная средина* не что иное какъ *конституція*. Статья сія не должна была быть дозволена въ журналѣ литературномъ и какъ, сверхъ того, она, статья, не взирая на ея нелѣпость, писана въ духѣ самомъ неблагонамѣренномъ, то и не слѣдовало цензурѣ оной пропускать». Въ статьѣ о «Горѣ отъ ума» усмотрѣна неприличная выходка противъ живущихъ въ Россіи иностранцевъ. Цензоръ С. Т. Аксаковъ получилъ строгій выговоръ и вскорѣ отставленъ отъ службы, журналъ запрещенъ, а издатель признанъ человѣкомъ неблагомыслящимъ и неблагонадежнымъ. Быть можетъ дѣло по отношенію къ Кирѣевскому не ограничилось бы даже и этимъ, если бы не Жуковский. Узнавъ о бѣдѣ, которая стряслась надъ Иваномъ Васильевичемъ, этотъ неизмѣнный другъ тотчасъ принялся хлопотать за него; но даже и ему, тогда уже воспитателю Наслѣдника, пришлось употребить все свое вліяніе, чтобы спасти Кирѣевского. Другой быть можетъ колебался бы; но Василю Андреевичу не въ первый разъ было забывать о себѣ... Мы позволяемъ себѣ привести цѣликомъ всѣ письма Жуковскаго къ Кирѣевскому объ этомъ дѣлѣ, какъ потому, что они рисуютъ время, такъ и еще болѣе потому, что въ нихъ чрезвычайно живо выступаетъ передъ нами высокой образъ мыслей самого Жуковскаго, такъ сильно отразившійся, какъ мы знаемъ, на Кирѣевскомъ.

«Очень огорчило меня то, что случилось съ тобою, мой милый Иванъ Васильевичъ. Я увѣренъ въ чистотѣ твоихъ мыслей, онѣ такъ же чисты, какъ и вся твоя жизнь до настоящей минуты. Но въ статьѣ твоей XIX вѣкъ находятъ подъ выраженіями явными тайный смыслъ и полагаютъ, что она написана съ худою цѣлью. Обвиняютъ и въ статьѣ твоей о *комедіи Горы отъ ума* твою выходку противъ любви къ ино-

странцамъ, полагая, что ты разумѣешь подъ именемъ иностранцевъ и тѣхъ русскихъ, кои, нося фамилію не русскую, принадлежать къ русскимъ подданнымъ, то есть жителей нашихъ нѣмецкихъ провинцій. Ни этой мысли, ни худыхъ тайныхъ намѣреній ты не могъ имѣть: въ этомъ я болѣе нежели кто-нибудь увѣренъ. Но правительство думаетъ иначе; журналъ твой запрещенъ, но тебѣ не запрещено оправдываться. Напиши письмо къ Его Высокопревосходительству Александру Христофоровичу Бенкендорфу, письмо, въ которомъ изъясни просто и цѣль своего журнала, и намѣреніе, съ какимъ написана первая статья, и настоящій смыслъ твоего мнѣнія объ иностранцахъ. Письмо должно быть написано коротко и просто; доставь его ко мнѣ; я вручу его генералу Бенкендорфу. Твое оправданіе будетъ конечно уважено. Обнимаю тебя и всѣхъ васъ».

Мы не знаемъ было ли написано оправдательное письмо Кирѣевскато; по крайней мѣрѣ вскорѣ Жуковскій пишетъ: *). «Мой милый «Европеецъ», обнимаю тебя за твое милое письмо. На сихъ дняхъ поѣду съ нимъ къ Бенкендорфу и приложу къ нему собственныя объясненія письменныя и словесныя. Ты же съ своей стороны сдѣлай то, что я тебѣ совѣтовалъ: напиши къ Бенкендорфу отъ себя. Но въ письмѣ своемъ болѣе старайся не доказывать сдѣланныя тебѣ несправедливости, а оправдывать свою невинность. Вступайся менѣе за свой журналъ, нежели за самого себя, и говори болѣе о томъ, что запрещеніе журнала дѣлаетъ и тебя самого подозрительнымъ правительству, чего ты не заслужилъ и что считаешь наибольшимъ для себя несчастіемъ. Говори о своемъ желаніи быть полезнымъ въ смыслѣ правительства, о своей цѣли распространять посредствомъ авторства тѣ идеи, кои правительство находитъ общепользными, и о томъ, что неблагоприятное мнѣніе, которое должно пасть на тебя съ запрещеніемъ твоего журнала, отнимаетъ у тебя средство доказать на дѣлѣ свою къ нему приверженность. Однимъ словомъ въ письмѣ твоемъ

*) Къ сожалѣнію онъ никогда почти не проставлялъ чиселъ.

должно быть менѣ доказательствъ того, что съ тобою поступали несправедливо, нежели увѣреній, что ты заслуживаешь доброе мнѣніе. Доказывать сильнымъ, что они неправы, есть только вооружать ихъ болѣе противъ себя. Стой не за журналъ свой, а за себя. Я уже писалъ къ Государю и о твоёмъ журналѣ и о тебѣ. Сказалъ мнѣніе свое на чистоту. Отвѣта не имѣю и вѣроятно не буду имѣть, но что надобно было сказать, то сказано. Изъ всего этого дѣла видно, что есть добрые люди, вѣроятно изъ авторской сволочи, кои вредятъ тебѣ по личной злобѣ, но вредя тебѣ, хотятъ ввести правительство въ заблужденіе и на счетъ всѣхъ, кто пишетъ съ добрымъ намѣреніемъ. Они клеветуютъ на эти намѣренія и я увѣренъ, что правительство убѣждено, что между авторами нѣкотораго разряда, въ коемъ вѣроятно состою и я, есть тайное соглашеніе распространять мнѣнія разрушительныя и революціонныя. Есть ли такая мысль дана правительству, то удивительно ли, что оно смотритъ на насъ съ подозрѣніемъ и въ самыхъ невинныхъ вещахъ видитъ то, чего въ нихъ нѣтъ и быть не можетъ. Все можно изъяснить превратнымъ образомъ. А какъ оправдаться, когда ни изъяснители, ни ихъ изъясненія неизвѣстны: а только вслѣдствіе сихъ тайныхъ клеветъ осуждаютъ то, что ими зловредно обезображено. Что дѣлать честному человѣку? Онъ совершенно безсиленъ, ибо и для оправданія своего не употребить тѣхъ средствъ, коими такъ богаты его обвинители, всемогущи, ибо они тайны. Клевета непобѣдима. Какъ бы она ни была безумна и ни на чемъ не основана, все произведетъ она свое дѣйствіе, то есть предубѣжденіе. Оно основано не на фактахъ, не на дѣйствіяхъ, а просто на *общихъ* клеветахъ, которыя нападаютъ на намѣренія. Обвинителямъ намѣреній вѣрять *на слово*, а тѣмъ, кто хочетъ оправдать себя, *на слово* не повѣрять. — Я просилъ о тебѣ и князя Дмитрія Владиміровича и представилъ ему себя за тебя порукою. Онъ человѣкъ истинно благородный и необходимо нужно, чтобы онъ зналъ тебя лично. Прилагаю къ нему письмо. Явись къ нему съ этимъ письмомъ тотчасъ по его пріѣздѣ въ Москву и покажи ему то, что напишешь къ генералу Бенкендорфу».

Въ приложенномъ къ этому письмѣ къ московскому военному генералъ-губернатору князю Д. В. Голицыну Жуковскій проситъ его обратить вниманіе на Кирѣевского и кончаетъ такъ:

«Я ничего не прошу для него отъ Вашего Сіятельства кромѣ сего вниманія, во всемъ остальномъ полагаюсь на Васъ самихъ, на умъ Вашъ, независимый отъ предубѣжденій, на благородное Ваше сердце, въ коемъ скромная невинность всегда найдетъ вѣрнаго заступника и судью безпристрастнаго. Съ своей стороны, осмѣливаюсь предложить Вашему Сіятельству мое поручительство за Кирѣевского: честнымъ словомъ моимъ увѣряю Васъ, что онъ и мыслями, и поступками будетъ достоинъ и одобренія Вашего и покровительства».

Этимъ кончилось дѣло: Кирѣевскій сохранилъ свободу личную (которая повидимому подвергалась опасности), но потерялъ едва ли не болѣе для него дорогую свободу *дѣятельности* — той дѣятельности, на которую возлагалъ онъ такіа свѣтлыя надежды. Тяжелымъ гнетомъ легло на него сознаніе этихъ узъ и онъ замолкъ надолго. Разставаясь пока съ его литературною дѣятельностью, посмотримъ, каковы были тѣ взгляды и стремленія, съ которыми онъ удалился въ частную жизнь, и что это были за «разрушительныя» теоріи, одно подозрѣніе въ которыхъ навлекло на него такую тяжелую кару.

Значительная часть обѣихъ книжекъ «Европейца» состоитъ изъ статей самого Ивана Васильевича. Первая изъ нихъ, «Деятнадцатый вѣкъ», послужившая къ его обвиненію, имѣетъ значеніе передовой статьи и отчасти программы журнала.

Цѣль ея — выяснить *направленіе* девятнадцатаго вѣка. Для этого авторъ прежде всего опредѣляетъ господствующія *направленія* двухъ эпохъ, предшествовавшихъ настоящему времени, начиная съ половины прошлаго вѣка. Онъ называетъ эти два направленія *разрушительнымъ* и *насилъственно соединяющимъ*, а въ современной ему эпохѣ видитъ стремленіе свести эти двѣ крайности въ одну общую, *искусственно отысканную середину*. Прослѣдивъ измѣненіе духа времени въ литературѣ, наукѣ и религіи, онъ находитъ характеръ совре-

меннаго просвѣщенія по преимуществу *практическимъ*. Переходя затѣмъ къ Россіи и высказавъ мысль, что направленіе нашей образованности зависитъ отъ *того понятія, которое мы имѣемъ объ отношеніи русскаго просвѣщенія къ просвѣщенію остальной Европы*,—Кирѣевскій утверждаетъ, что изъ трехъ основныхъ стихій европейскаго просвѣщенія—христіанской религіи, характера варварскихъ народовъ и остатковъ древняго міра—Россіи недоставало послѣдней, и что этимъ то отсутствіемъ въ русской жизни слѣдовъ вліянія классической древности и объясняются ея особенности и недостатки русскаго просвѣщенія. Для восполненія этихъ недостатковъ былъ одинъ путь: заимствованіе западной культуры, совершавшееся сначала *отрывисто*, а при Петрѣ принявшее характеръ переломорота, необходимаго и законнаго.

Таково вкратцѣ содержаніе статьи. Чтобы дать понятіе о томъ духѣ, въ которомъ она написана, приведемъ нѣсколько отрывковъ изъ нея:

«Какая то Китайская стѣна стоитъ между Россією и Европою, и только сквозь нѣкоторыя отверстія пропускаетъ къ намъ воздухъ просвѣщеннаго Запада; стѣна, въ которой Великій Петръ ударомъ сильной руки пробилъ широкія двери; стѣна, которую Екатирина долго старалась разрушить; которая ежедневно разрушается болѣе и болѣе, но не смотря на то, все еще стоитъ высоко и мѣшаетъ.

«Скоро ли разрушится она? Скоро ли образованность наша возвысится до той степени, до которой дошли просвѣщенные государства Европы?—Что должны мы дѣлать, чтобы достигнуть этой цѣли или содѣйствовать къ ея достиженію?—Изъ внутри ли собственной жизни должны мы заимствовать просвѣщеніе свое, или получать его изъ Европы?—И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни? И что должны мы заимствовать отъ просвѣтившихся прежде насъ?»—
«На чемъ же основываются тѣ, которые обвиняютъ Петра *), утверждая, будто онъ далъ ложное направленіе образован-

*) Намекъ, вѣроятно, на П. В. Кирѣевскаго и А. С. Хомякова.

ности нашей, заимствуя ее изъ просвѣщенной Европы, а не развивая изнутри нашего быта?

«Эти обвинители великаго создателя новой Россіи съ нѣкотораго времени распространились у насъ болѣе, чѣмъ когда либо; и мы знаемъ, откуда почерпнули они свой образъ мыслей.

«Они говорятъ намъ о просвѣщеніи національномъ, самобытномъ; не велятъ заимствовать, бранятъ нововведенія и хотятъ возвратить насъ къ коренному и старинно-русскому. Но что же? Если разсмотрѣть внимательно, то это самое стремленіе къ національности есть не что иное, какъ непонятое повтореніе мыслей чужихъ, мыслей Европейскихъ, занятыхъ у французовъ, у нѣмцевъ, у англичанъ, и необдуманно примѣняемыхъ къ Россіи. Дѣйствительно, лѣтъ десять тому назадъ стремленіе къ національности было господствующимъ въ самыхъ просвѣщенныхъ государствахъ Европы; всѣ обратились къ своему народному, къ своему особенному; но тамъ это стремленіе имѣло свой смыслъ: тамъ просвѣщеніе и національность одно, ибо первое развилось изъ послѣдней. Потому, если нѣмцы искали чисто нѣмецкаго, то это не противорѣчило ихъ образованности; напротивъ, образованность ихъ такимъ образомъ доходила только до своего сознанія, получала болѣе самобытности, болѣе полноты и твердости. Но у насъ искать національнаго, значитъ искать необразованнаго; развивать его на счетъ Европейскихъ нововведеній, значитъ изгонять просвѣщеніе; ибо, не имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы ее, если не изъ Европы?—Развѣ самая образованность Европейская не была послѣдствіемъ просвѣщенія древняго міра? Развѣ не представляетъ она теперь просвѣщенія общечеловѣческаго?—Развѣ не въ такомъ же отношеніи находится она къ Россіи, въ какомъ просвѣщеніе классическое находилось къ Европѣ».

Болѣе ясно выразить необходимость подражанія Западу невозможно. Поэтому мы должны признать, что по отношенію къ выбору между заимствованіемъ и самобытностью взгля-

дамъ Кирѣвскаго предстояло претерпѣть коренное измѣненіе; но вотъ отрывокъ изъ той же статьи, только касающійся не общаго и такъ сказать практическаго вопроса, а иной области:

«Религія не одинъ обрядъ и не одно убѣжденіе. Для полнаго развитія не только истинной, но даже ложной религіи необходимо единомысліе народа, освященное яркими воспоминаніями, развитое въ преданіяхъ односмысленныхъ, сопринятое съ устройствомъ государственнымъ, олицетворенное въ обрядахъ однозначительныхъ и общенародныхъ, сведенное къ одному началу положительному и ощутительное во всѣхъ гражданскихъ и семейственныхъ отношеніяхъ. Безъ этихъ условій есть убѣжденіе, есть обряды, но собственно религіи—нѣтъ».

Не потому ли и находилъ пока Иванъ Васильевичъ необходимымъ заимствовать чужое, что не видалъ еще въ Россіи *единомыслія народа* и, что всего важнѣе,—не ощущалъ его въ себѣ самомъ? И не потому ли онъ сразу измѣнилъ свой взглядъ на самобытность, какъ только ощутилъ въ себѣ это *одно положительное начало*?

Но пока онъ понималъ задачу свою и подобныхъ ему людей какъ обязанность знакомить русское читающее общество съ произведеніями иностранной словесности и съ выводами западной науки. Всѣ его наклонности влекли его къ дѣлу литературно-общественному, къ дѣятельности журнальной. Занятія научныя—философскія и историческія—представлялись ему не какъ цѣль, а какъ средство для подготовки къ поприщу публициста: оно оставалось его мечтою, и потому-то онъ и былъ такъ пораженъ тѣмъ ударомъ, который не только лишилъ его возможности осуществить эту мечту, но и отнялъ у него то удовлетвореніе, которое онъ уже испыталъ,—блестящій и заманчивый успѣхъ. Лишенный любимаго и уже привычнаго дѣла, выбитый изъ колеи, Кирѣвскій въ теченіе двухъ лѣтъ не написалъ ничего замѣтнаго, кромѣ двухъ небольшихъ безыменныхъ статей: разбора стихотвореній Языкова для «Телескопа» и статьи о русскихъ писательницахъ для

«Одесскаго Альманаха». Говорить открыто, передъ всею Россіею было ему нельзя, а работать въ тиши кабинета, класть свои мысли на бумагу, не думая о томъ, когда онѣ попадутъ въ печать—это въ то время и въ голову ему не приходило, хотя его другъ Баратынскій и писалъ ему послѣ запрещенія «Европейца»: «Завлечимся въ своемъ кругу, какъ первыя братія христіане, обладатели свѣта гонимаго въ свое время, а нынѣ торжествующаго. Будемъ писать не печатая. Можетъ быть придетъ благопоспѣшное время».

Такимъ отношеніемъ къ своимъ трудамъ Иванъ Васильевичъ представлялъ полную противоположность брату.

Одновременно съ изданіемъ «Европейца», Петръ Васильевичъ поступилъ въ тотъ же Московскій Архивъ, гдѣ и прослужилъ болѣе трехъ лѣтъ. Надобно думать, что для него эта служба не была исполненіемъ пустой формальности какъ для большинства архивныхъ юношей. Припомнимъ, что въ Мюнхенскомъ Университетѣ онъ занимался латинскимъ языкомъ, философіей и исторіей. Послѣдняя вскорѣ привлекла его и осталась любимымъ занятіемъ всей его жизни вмѣстѣ съ народною словесностью, которой онъ посвятилъ себя вскорѣ, и съ переводами, которыми занимался по временамъ. Этой-то исторической работѣ его—работѣ мелкой и кропотливой: чтенію лѣтописей и подлинныхъ актовъ—вѣроятно и было положено начало въ архивѣ. Съ первыхъ шаговъ Петръ Васильевичъ показалъ себя неутомимымъ и добросовѣстнымъ труженикомъ, котораго привлекалъ самый трудъ, который вовсе не думалъ не только объ обнародованіи добытыхъ имъ выводовъ, но на первый разъ даже объ изложеніи ихъ. Такимъ образомъ братья взаимно дополняли другъ друга; и когда позднѣе они дошли до полнаго единомыслія, то живой, общительный и неусидчивый Иванъ Васильевичъ находилъ постоянную поддержку въ спокойномъ, застѣнчивомъ и трудолюбивомъ братѣ.

V.

Весною 1834 года тоска, овладѣвшая Иваномъ Васильевичемъ, была разсѣяна радостнымъ событіемъ: Наталья Петровна Арбенева, которой онъ вторично предложилъ руку, согласилась сдѣлаться его женою. Жуковскій былъ заочно посаженнымъ отцомъ Кирѣевского. Любя жениха и невѣсту, одинаково родныхъ ему по крови, онъ очень радовался этому браку. Быть можетъ, къ этой радости въ его душѣ примѣшивалось воспоминаніе о своемъ собственномъ, не сужденномъ ему и уже давно погибшемъ счастьѣ... Въ самый день свадьбы онъ писалъ молодымъ въ Москву: «Теперь утро 29 Апрѣля: переносусь мысленно къ вамъ, провожаю васъ въ церковь, занимая данное мнѣ мѣсто отца, и отъ всего сердца прошу вамъ отъ Бога мирнаго, постоянного, долготѣннаго счастья»...

Начало семейной жизни было для Кирѣевского началомъ и новой поры въ жизни духовной. Наталья Петровна была воспитана въ строго церковномъ духѣ. Духовникомъ ея былъ старецъ Московскаго Новоспасскаго монастыря Филаретъ: теперь узналъ его и Иванъ Васильевичъ. Нравственная высота, горячая любовь къ ближнему, знаніе человѣческаго сердца въ соединеніи съ обширною начитанностью — всѣ эти качества, привлекавшія къ отцу Филарету тысячи людей всѣхъ сословій, — не могли не поразить сразу Ивана Васильевича, чуткаго, воспріимчиваго и уже давно искавшаго разрѣшенія своихъ сомнѣній. Немудрено, что бесѣды съ отцомъ Филаретомъ скоро преобразили его внутренній міръ. Недавній ко-

леблющійся философъ сдѣлался твердо вѣрующимъ православнымъ христіаниномъ.

Отецъ Филаретъ и его другъ старецъ Александръ *) принадлежали къ небольшому числу русскихъ монаховъ, примкнувшихъ къ тому новому въ православномъ монашествѣ теченію, починъ которому положенъ былъ *старцемъ Паисіемъ*.

Дѣятельность этого необыкновеннаго человѣка такъ широко отозвалась въ нашемъ отечествѣ, и въ частности имѣла такое значеніе въ жизни И. В. Кирѣевского, что мы позволимъ себѣ вкратцѣ напомнить здѣсь хотя главнѣйшія ея черты.

Паисій (р. 1722+1794), въ міру Петръ Ивановичъ Величковскій, сынъ Полтавскаго протоіерея, которому онъ по тогдашнему обычаю долженъ былъ наследовать, вмѣсто того шестнадцати лѣтъ ушелъ изъ Кіевской Академіи въ Любецкій монастырь, потомъ въ Валахію и наконецъ на Аѳонъ, гдѣ въ 1750 году и постригся. Черезъ нѣсколько времени, уже окруженный многочисленными учениками, Паисій переселился въ Молдавію, гдѣ и былъ настоятелемъ монастырей Драгомирны, Сѣкула и Нямца, мѣняя не мѣсто служенія, а мѣсто жительства, то есть по обстоятельствамъ политическимъ и по желанію свѣтскихъ властей переселяясь со своими учениками изъ одной обители въ другую. Прославленный строгостью жизни и вдохновеннымъ учительствомъ, владѣя въ высшей степеніи даромъ объединять вокругъ себя людей, стремящихся къ одной высокой духовной цѣли—Паисій былъ для современнаго ему монашества тѣмъ, чѣмъ для своего времени были великіе подвижники XIV в.,—съ тою лишь разницею, что суетливая жизнь новаго времени и оскудѣніе вѣры въ свѣтскомъ обществѣ ограничивали кругъ его дѣйствія болѣе тѣсною средою. Но дѣйствуя примѣромъ жизни и ученіемъ слова, Паисій отъ юности поставилъ себѣ еще и иную задачу: изучить и распространить среди русскаго монашества творенія великихъ подвижниковъ древности, справедливо полагая, что чтеніе ихъ неминуемо должно поднять и оживить замѣтно

*) Съ 1810 г. Архимандритъ Арзамасскаго Спасскаго монастыря.

упавшій въ его время духъ иночества. Но какъ исполнить это? Огромное большинство русскихъ монаховъ не имѣло понятія о греческомъ языкѣ, да и самыя рукописныя подлинники позднѣйшихъ святоотеческихъ писаній сдѣлались къ концу XVIII вѣка величайшею рѣдкостью; а немногіе существовавшіе русскіе ихъ переводы, слѣдуя общей судьбѣ рукописныхъ книгъ, съ теченіемъ времени наполнились самими безобразными ошибками. Сначала Паисій попытался было исправлять ихъ, но скоро убѣдился въ бесполезности такой работы, ибо исправлять было *не по чему*. И вотъ у него явилась смѣлая мысль: переводить эти книги самому. Легко сказать: переводить,—не имѣя ни греческихъ подлинниковъ, ни основательнаго знанія греческаго языка, весьма поверхностно изученнаго имъ въ молодости!.. Но несокрушимая воля и пламенная жажда истины преодолѣли всѣ эти препятствія. Съ неимовернымъ трудомъ, послѣ долгихъ напрасныхъ розысковъ Паисію удалось пріобрѣсти на Аѳонѣ списки важнѣйшихъ нужныхъ ему книгъ: и вотъ онъ засѣлъ за работу, заразъ и учась по гречески, и переводя... Плодомъ многолѣтнихъ трудовъ его явились переводы множества писаній древнихъ отцовъ. Долго не рѣшался Паисій не только печатать, но даже рассылать своихъ переводовъ. Только за годъ до его смерти была напечатана въ Москвѣ важнѣйшая изъ переведенныхъ имъ книгъ, «Добротолюбіе» — сборникъ писаній 24 подвижниковъ; большинство же переводовъ еще много лѣтъ оставалось въ рукописяхъ.

Проведя всю свою иноческую жизнь внѣ Россіи, Паисій не переставалъ лелѣять мечту о подъемѣ русскаго монашества. Онъ переписывался со многими выдающимися русскими подвижниками, въ томъ числѣ съ упомянутымъ выше отцомъ Александромъ, и со своимъ сверстникомъ Архимандритомъ Курской Софроніевой пустыни Θεодосіемъ, котораго, вмѣстѣ съ его учениками, вызвалъ изъ Валахіи князь Потемкинъ. Къ Θεодосію написано длинное посланіе Паисія, въ которомъ онъ подробно рассказываетъ всю исторію пріобрѣтенія и перевода имъ греческихъ книгъ. Посланіе это дышетъ трога-

тельною простотою и искренностью и живо рисуетъ величавый образъ неутомимаго труженика *).

Черезъ восемь лѣтъ послѣ изданія «Добротолюбія» на русскомъ языкѣ—въ 1801 году, въ первый годъ XIX столѣтія—пришли въ Россію два ближайшіе ученика Паисія старцы Клеопа († 1817) и Θεодоръ († 1822). Большую часть остальной своей иноческой жизни они провели въ монастыряхъ Орловской епархіи—Бѣлобережской пустыни и Челнскомъ. Ихъ ученикъ о. Леонидъ († 1841) былъ первымъ по времени знаменитымъ старцемъ Козельской Введенской Оптиной пустыни. Къ нему, какъ къ о. Филарету въ Москвѣ, стекалось множество народа. Умирая, онъ передалъ руководство своей паствы своему ученику и другу Макарію († 1860)**). Наслѣдникомъ о. Макарія былъ недавно скончавшійся старецъ Амвросій († 1891).

Отличительною чертою всѣхъ этихъ людей было ихъ самоотверженное учительство. Не жалѣя силъ, съ утра до ночи и изо дня въ день въ теченіе десятковъ лѣтъ отдавались они поученію тѣснившагося вокругъ нихъ народнаго множества, жертвуя ему своимъ единственнымъ сокровищемъ—уединеніемъ. Только необычайною силою духа, питаемаго молитвою, и можно объяснить, какъ ихъ хватало на эту изумительную дѣятельность. Кто испыталъ, по охотѣ или по должности, что значитъ проговорить три дня подъ рядъ съ разношерстною толпою хотя бы только просителей по дѣламъ житейскимъ,—тотъ пойметъ, какая несокрушимая энергія и любовь къ ближнему нужна была для того, чтобы провести такъ тридцать лѣтъ, какъ иные изъ Оптинскихъ старцевъ,—да еще, каждаго понять и каждаго наставить.

Такимъ образомъ дѣло Паисія шло одновременно двумя

*) Приведенныя подробности заимствованы изъ книги: «Житіе и писанія Молдавскаго старца Паисія Величковскаго», изданіе второе, Москва 1847.

**) *Иванову*, котораго не должно смѣшивать съ *Макаріемъ Глухаревымъ*, алтайскимъ миссіонеромъ и переводчикомъ священнаго писанія, скончавшимся въ Болховѣ въ 1847 году.

путями: чрезъ личный примѣръ и преемство и чрезъ распространіе переведенныхъ имъ святоотеческихъ писаній. Обѣ эти области нашли сочувствіе въ сердцѣ И. В. Кирѣвскаго.

Послѣ смерти о. Филарета, скончавшагося въ 1842 году на его рукахъ, Иванъ Васильевичъ отдалъ себя въ руководство Оптиному старцу Макарію. Съ этого времени начинается тѣснѣйшая связь его съ Оптиной пустынью. Чтобы не прерывать разсказа объ этой, отнынѣ важнѣйшей сторонѣ его жизни и дѣятельности, мы нѣсколько опередимъ разсказъ хронологическій.

Оптина Пустынь находится подъ Козельскомъ, въ замѣчательно живописной лѣсистой мѣстности на берегу Жиздры. Обитель эта, мало извѣстная въ теченіе трехъ вѣковъ существованія,—въ началѣ XIX столѣтія быстро достигла цвѣтущаго состоянія благодаря цѣлому ряду усердныхъ настоятелей. Первымъ изъ нихъ былъ Авраамій, ученикъ строителя Пѣшношскаго (Московской губерніи) монастыря Макарія, находившагося въ сношеніяхъ и перепискѣ съ о. Паисіемъ. Но особенно потрудился надъ устроеніемъ монастыря игуменъ Моисей. Славою же своею, широко распространившейся по русской землѣ, обитель обязана тѣмъ старцамъ, которые, живя въ недалекомъ отъ нея скиту, въ продолженіе болѣе чѣмъ полу-вѣка были наставниками и руководителями тысячъ изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества—отъ безграмотнаго крестьянина до людей съ самымъ широкимъ и многостороннимъ образованіемъ. Одинъ изъ нихъ, Левъ Александровичъ Кавелинъ, въ послѣдствіи намѣстникъ Троицкой Сергіевой лавры архимандритъ Леонидъ, составилъ и издалъ подробную исторію обители.

Отъ Оптиной пустыни до Долбина—сорокъ верстъ. Иванъ Васильевичъ со времени женитьбы всегда почти проводилъ зиму въ Москвѣ, а лѣто въ деревнѣ, и потому сношенія его съ пустынью и съ о. Макаріемъ были правильны и часты. Лѣтомъ они видались, зимою переписывались. Дошедшія до насъ письма о. Макарія къ Кирѣвскому и его женѣ ка-

саются самыхъ разнообразныхъ предметовъ: тутъ и наставленія по поводу разныхъ мелкихъ житейскихъ дѣлъ и соображенія объ изданіи твореній отцовъ Церкви.

Мы уже сказали, что дѣятельность Паисія и его многочисленныхъ учениковъ носила характеръ двойкій: наставническій и просвѣтительный. Въ первомъ отношеніи дѣятельность эта способствовала установленію тѣснѣйшей духовной связи между старцемъ и его ученикомъ—будь то инокъ или мірянинъ—связь, чрезъ которую ученикъ, проникаясь духомъ наставника, старался достигъ полного подчиненія своей воли волѣ избраннаго имъ руководителя, этимъ путемъ побѣдить въ себѣ гордость и дать своимъ поступкамъ лучшее въ христіанскомъ смыслѣ направленіе. Такой подвигъ смиренія, нелегкій для всякаго, особенно труденъ для человѣка съ широкимъ свѣтскимъ образованіемъ. Двадцать лѣтъ шелъ по этому пути И. В. Кирѣевскій и доказалъ, что на пути этомъ не только не сгузился его умственный кругозоръ, а напротивъ—его мысль и слово получили новую, небывалую дотолѣ силу. Въ этомъ сказалась другая сторона обновленнаго монашества. Мы упомянули, что только часть переводовъ Паисія была напечатана при его жизни и вскорѣ послѣ его смерти: остальное издавалось впослѣдствіи, а многія другія писанія оренскихъ отцовъ Церкви были переведены и изданы Оптиной пустынью, которая сдѣлалась средоточіемъ этихъ трудовъ. Въ нихъ то и принялъ горячее участіе Иванъ Васильевичъ. Изучивъ для этого, вновь и основательно, греческій языкъ, днѣ и самъ много переводилъ, и исправлялъ переведенное другими, и хлопоталъ по печатанію книгъ, и помогалъ этому дѣлу своими денежными средствами. Но онъ не удовольствовался и этимъ. Усердное чтеніе и добросовѣстное изученіе святоотеческихъ писаній открыло передъ нимъ новый міръ, дало ему то содержаніе для философіи, котораго онъ тщетно искалъ въ системахъ Германіи. Здѣсь онъ былъ уже не ученикомъ только, но продолжателемъ дѣла Паисія, который, въ смиреніи сердца трудясь надъ переводомъ книгъ на пользу и назиданіе монашества, быть можетъ, и не предвидѣлъ всего

широкаго захвата начатаго имъ дѣла. Житіе Паисія издано также трудами Кирѣвскаго.

Всенародное выраженіе новыхъ взглядовъ Ивана Васильевича относится ко времени позднѣйшему и мы вернемся къ нему въ своемъ мѣстѣ. Лишь передъ самымъ концомъ пришлось ему приступить къ изложенію «новыхъ началъ для философіи», но уже въ 1848 году Хомяковъ писалъ ему:

Ты сказалъ намъ: „за волною
Вашихъ мысленныхъ морей
Есть земля—надъ той землею
Блещетъ дивной красотою
Новой мысли эмпирей“.

Распусти жь твой парусъ бѣлый,
Лебединое крыло,
И стремися въ тѣ предѣлы,
Гдѣ тебѣ, нашъ путникъ смѣлый,
Солнце новое взошло;

И съ богатствомъ многоцѣннымъ
Возвратившись снова къ намъ,
Дай покой душамъ смятеннымъ,
Крѣпость волямъ утомленнымъ,
Пищу алчущимъ сердцамъ!

Кирѣвскій дѣйствительно могъ дать эту пищу, ибо онъ на себѣ испыталъ это *сердечное алканіе*. Поэтому-то совершившійся въ немъ переворотъ слѣдуетъ назвать не обращеніемъ невѣрующаго, а скорѣе удовлетвореніемъ ищущаго.

Рядомъ съ измѣненіемъ настроенія религіознаго совершалось въ немъ и измѣненіе взглядовъ историческихъ. Надобно думать, что здѣсь вмѣстѣ съ Хомяковымъ и вѣроятно еще сильнѣе, чѣмъ онъ, дѣйствовалъ на И. В. Кирѣвскаго братъ Петръ Васильевичъ, съ которымъ они постоянно и горячо спорили. Такимъ образомъ если старецъ Филаретъ оживилъ въ немъ несознаваемую имъ самимъ вѣру, то Петру Васильевичу принадлежитъ честь научнаго переубѣжденія брата, которому онъ самъ отдавалъ преимущество передъ собою въ силѣ ума и дарованій: и это дѣло—одна изъ крупныхъ заслугъ этого скромнаго труженика. Къ нему—и вмѣстѣ къ нити нашего прерваннаго разсказа—возвращаемся мы теперь.

VI.

Весною 1835 года Авдотья Петровна съ младшими дѣтьми отправилась за границу лѣчиться; съ ними поѣхалъ и Петръ Васильевичъ. Передъ отъѣздомъ онъ вышелъ въ отставку— 1 Мая, какъ сказано въ выданномъ ему изъ Архива аттестатѣ, прослуживъ тамъ болѣе трехъ лѣтъ.

11 Мая пріѣхали они въ Петербургъ; но здѣсь Петра Васильевича задержала проволочка съ объявленіемъ въ газетахъ о его выѣздѣ, которое четыре лишніе дня продержали въ типографіи, а безъ объявленія выѣхать было нельзя. Поэтому Авдотья Петровна уѣхала раньше, а онъ долженъ былъ догнать ее уже въ Карлсбадѣ. Петербургскіе друзья Ивана Васильевича—товарищи, Жуковскій и Пушкинъ—приняли брата его такъ ласково, что Петръ Васильевичъ былъ до глубины души тронутъ. Выше мы привели отзывъ его о Титовѣ по этому поводу. Въ письмѣ отъ 31 Мая онъ проситъ брата и жену его писать къ нему чаще, прибавляя: «Ваши письма—камертонъ всего моего душевнаго строя, безъ котораго фортепьяны разстраиваются и мучутъ диссонансами». Объ Иванѣ Васильевичѣ, котораго зажилъ въ Москвѣ, онъ прибавляетъ: «Ахъ, еслибы тебѣ можно было поскорѣе въ Долбино, чтобы освѣжиться и отдохнуть ото всей этой мелочной дряни, въ которой ты никакъ не умѣешь оравнодушиться».

Наконецъ 12 Іюня Петръ Васильевичъ выѣхалъ изъ Петербурга моремъ и 18 былъ въ Любекѣ. «Я не безъ удо-

вольствія увидѣлъ опять Германію»,—пишетъ онъ брату: «которая оставила во мнѣ много воспоминаній дорогихъ и въ которой есть много глубоко поэтического, но вмѣстѣ съ тѣмъ я испыталъ и грустное чувство старика, который возвращается на мѣсто, давнымъ давно невиданное. Можетъ быть потому только и живы *первыя* впечатлѣнія, что съ ними соединена безотчетная надежда на неизмѣнность каждаго явленія, на вѣчность всего; а какъ скоро родится чувство суеты и ломкости,—то, что было бы прежде живымъ впечатлѣніемъ, становится холодной теоремой; вмѣсто того чтобы чувствовать *какъ это хорошо!* думаешь только—*что бы это значило?* и разумѣется тупѣешь ко всему внѣшнему, то есть старѣешься. Всегда грустно видѣть *иначе* то мѣсто, гдѣ было весело, и потому я все больше и больше убѣждаюсь, что настоящее счастье можетъ быть только въ одномъ *вѣчнооднообразномъ* движеніи. Но это чувство во мнѣ не новое, и ты его знаешь во мнѣ».

Авдотья Петровна ѣхала въ Карлсбадъ на Дрезденъ, куда потомъ и вернулась на зиму. Догнавъ своихъ, Петръ Васильевичъ остался съ ними. Къ сожалѣнію, не сохранилось его писемъ къ брату за это время, а потому и нельзя ничего сказать о его занятіяхъ за границую, гдѣ онъ пробылъ годъ. По возвращеніи весною 1836 г. въ Россію, ему пришлось приняться за хлопотливое и непріятное дѣло.

Семьѣ предстоялъ раздѣлъ, нелегкій при сложности ея состава. Большая часть состоянія принадлежала старшимъ братьямъ, которыхъ отношенія съ вотчимомъ съ нѣкоторыхъ поръ измѣнились. Старшему изъ Елагиныхъ, Василию Алексѣевичу, было уже 18 лѣтъ; остальные были еще подростками и дѣтьми.

Иванъ Васильевичъ не могъ уѣхать изъ Москвы и поручилъ все дѣло брату. Трудно пришлось Петру Васильевичу; его письма носятъ отпечатокъ грусти и раздраженія. Въ этихъ мелочныхъ дразгахъ ему жаль было матери и брата В. А. Елагина. «Положеніе бѣднаго Василя»,—пишетъ онъ: «еще ужаснѣе, потому что онъ съ своимъ умомъ и глубокимъ

сердцемъ не можетъ не видать, въ чемъ дѣло». Въ слѣдующемъ письмѣ, посланномъ съ Василиемъ Александровичемъ, читаемъ: «Отогрѣй молодца Василья: ему здѣсь было тяжело». Сестра Марья Васильевна приписываетъ въ одномъ изъ писемъ: «Каковъ Петрикъ? Совсѣмъ дѣловой человѣкъ сдѣлался». И дѣйствительно, ему удалось все уладить и все устроить. При этомъ онъ, кажется, почти не думалъ о себѣ, а только о братѣ и его семьѣ. Поздравляя Ивана Васильевича съ рожденіемъ дочери, онъ пишетъ 18 іюля: «Слава Богу! Намъ на судьбу грѣшно жаловаться: намъ жить и дѣйствовать есть для кого; а если тяжелые узлы жизни и затемнили годы нашей молодости, то можетъ быть и это благодѣяніе, потому что научило насъ многому». Черезъ полгода спрашивая о здоровьѣ племянника Васи, Петръ Васильевичъ пишетъ: «Онъ мнѣ сынъ не меньше твоего. Ты знаешь, что другихъ дѣтей, кромѣ твоихъ, я не хочу, и у меня не будетъ».

Наконецъ раздѣлъ былъ поконченъ. Иванъ Васильевичъ, какъ женатый, получилъ Долбино, а Петру Васильевичу досталась деревня Кирѣвская Слободка подъ Орломъ. 22 Января 1837 года онъ въ первый разъ пріѣхалъ сюда въ качествѣ хозяина, чтобы ввестись во владѣніе, и 26-го пишетъ брату: «Здѣсь у меня очень порядочная и просторная комната, въ которой я завелъ диванъ, вольтеровскія кресла, столъ, шесть стульевъ и гитару; и вообще было бы очень комфортно, еслибы не тараканы, которыхъ я однако вымариваю. Въ хозяйство надѣюсь вникнуть, хоть на первый случай очень трудно сообразить при совершенномъ недостаткѣ прежнихъ бумагъ и счетовъ».

Пробывъ въ Слободкѣ три недѣли и устроивъ по возможности свои будущія дѣла, Петръ Васильевичъ вернулся въ Петрищево, гдѣ жила Авдотья Петровна. Осенью онъ снова пріѣхалъ въ Слободку въ новый, только что отстроенный домъ. Здѣсь прожилъ онъ, съ недолгими отлучками, девятнадцать лѣтъ, до самой своей смерти.

Мѣстность, въ которой пришлось поселиться Петру Ва-

сильевичу, лежитъ вблизи черты, отдѣляющей черноземную полосу отъ Полѣсья. Та же приблизительно граница раздѣляетъ старыя великорусскія сельбища отъ степей, заселенныхъ сравнительно недавно послѣ Смутнаго времени. По этой границѣ Московскіе великіе князья верстали помѣстьями служилыхъ людей, потомки которыхъ, вмѣстѣ съ немногими сохранившимися дворянскими родами, и понынѣ живутъ въ одноворческихъ деревняхъ сѣверныхъ уѣздовъ Орловской губерніи, нося старыя служилыя имена Писаревыхъ, Алымовыхъ, Юшковыхъ. Въ названіяхъ здѣшнихъ урочищъ оживаетъ многовѣковая исторія борьбы Руси съ сосѣдями: на востокѣ пограничную черту пересѣкаетъ Муравскій шляхъ, по которому шелъ путь изъ Москвы въ Крымъ; на западѣ—Царевъ Бродъ, Разстригинъ Верхъ напоминаютъ о походѣ перваго самозванца. Древній, до - варяжскій Мценскъ и другіе города земли непокорныхъ Вятичей, «сквозѣ» которыхъ едва проѣхалъ самъ отважный Мономахъ съ дружиною; наконецъ подъ Карачевымъ, напоминающимъ своимъ именемъ Карачарово, родину Ильи Муромца—урочище Девять Дубовъ и близъ него «Соловьевъ перевозъ»—таковы преданія этого края, уходящія въ сѣдую древность...

Ближайшія окрестности сельца Кирѣвской Слободки скромнѣе воспоминаніями. Здѣсь уже—сплошной черноземъ и старина, не превышающая трехъ вѣковъ; здѣсь рукой подать до Орла—города новаго, не прославленнаго ничѣмъ въ старыхъ лѣтописяхъ; зато здѣсь—уголокъ, какъ нарочно созданный для уединенія... Кирѣвская Слобода лежитъ на рѣчкѣ Сухой Орлицѣ въ трехъ верстахъ отъ впаденія ея въ Орликъ. На лѣвомъ ея берегу, по южному склону, стоитъ небольшой деревянный домъ, со всѣхъ сторонъ укрытый густою тѣнью деревьевъ. Къ востоку, въ сторону города, сначала внизъ по рѣчкѣ, потомъ по впадающему въ нее лѣсистому логу, тянется грань до большой Наугорской дороги—идущей на рѣку Угру, или на угорье, или на Угры—кто знаетъ? Вверхъ по рѣчкѣ, къ западу, въ двухъ верстахъ—село Дмитровское-Истомино, съ небольшою, при поселеніи Петра Васильевича, деревянною

церковью *)... Таковы окрестности, не поражающія взора широкими видами, но полныя прелести настоящей черноземной русской деревни... И Петръ Васильевичъ всей душой полюбилъ свою Слободку. Съ первыхъ же лѣтъ своей одинокой деревенской жизни принялся онъ за разведеніе сада и лѣса. И теперь еще приносятъ плодъ его яблони, и мелькаютъ въ березовыхъ перелѣскахъ съ любовью посаженные имъ купы елокъ; вблизи дома еще качаетъ длинными вѣтвями одинъ изъ двухъ выращенныхъ имъ грецкихъ орѣховъ—другой уже отжилъ свой вѣкъ—и цвѣтутъ его любимыя персидскія сирени... Но не одному саду посвящалъ свои заботы внимательный хозяинъ. Сохранилась небольшая его записочка, на которой отмѣченъ счетъ *ослѣз* растущихъ въ имѣніи деревьевъ, дубовъ и березъ—болѣе двадцати тысячъ—съ подробнымъ указаніемъ, въ какомъ логу сколько чего растетъ. А о хозяйственной порядливости Петра Васильевича говорятъ приходорасходныя книги, которыя онъ самъ велъ до копѣйки и до пуда хлѣба въ теченіе двадцати лѣтъ.

Но въ тѣ времена, еще болѣе чѣмъ теперь, вся сила и весь смыслъ хозяйства заключались не въ счетоводствѣ и не въ полеводствѣ, а въ живой связи съ крестьяниномъ, въ умѣнѣ разумно пользоваться его трудомъ, и въ искреннемъ желаніи отдавать свой трудъ на пользу ему. И тогда, какъ и теперь, немногіе понимали эту задачу во всей ея широтѣ: въ числѣ этихъ немногихъ былъ Петръ Васильевичъ Кирѣевскій. Близкій къ народу съ дѣтства, онъ зналъ его, любилъ и привыкъ входить въ мелкія нужды крестьянъ.

Еще раньше, устраивая раздѣлъ, онъ пишетъ брату подробно о многихъ дворовыхъ, заботясь о томъ, чтобы кого-нибудь не обидѣть. Теперь, непосредственно распоряжаясь судьбою крестьянъ, онъ еще болѣе вглядывался въ ихъ бытъ. Задолго до освобожденія онъ уже совершенно просто говорилъ: «Сколько Государь скажетъ отдать имъ земли моей, столь-

*) Нынѣшняя каменная церковь Казанской Божіей Матери и св. Дмитрія Селунскаго заложена была въ послѣдніе годы жизни Петра Васильевича и вѣроятно не безъ его щедрой помощи стараніями священника Ѳедора Петровича Смирнова, недавно умершаго протоіерея въ Орлѣ.

ко и отдамъ». Въ страшный 1840 годъ онъ роздалъ все, что у него было въ амбарахъ—не только своимъ, но и чужимъ...

Знаніе русскаго народа и любовь къ его изученію опредѣлили двѣ важнѣйшія специальности научныхъ занятій Петра Васильевича: исторію и народную словесность. Историческія его работы были очень своеобразны. Всю жизнь возился онъ съ лѣтописями, со всевозможными грамотами и актами,—читая, сличая, дѣлая выписки, — и написалъ, и то случайно, всего одну небольшую историческую статью.

Трудно даже сказать, имѣлъ-ли онъ въ виду писать русскую исторію. Самъ онъ считалъ себя малоспособнымъ къ письменному изложенію своихъ мыслей и на приглашеніе участвовать въ «Московскомъ Сборникѣ» писалъ Кошелеву: «Несмотря на все мое желаніе писать какъ можно больше и скорѣе, до сихъ поръ, кажется, какъ будто сама природа привязала къ моему перу камень; и это, повѣрьте, совсѣмъ не отъ смиренія и не отъ излишней совѣстливости, а частью отъ непривычки излагать свою мысль на бумагу, частью же и отъ самаго свойства моихъ занятій, т. е. раскапыванія старины, при которомъ нельзя ни шагу двинуться безъ тысячи справокъ и повѣрокъ и безъ ежеминутной борьбы съ цѣлою фалангой предшественниковъ, изувѣчившихъ и загрязнившихъ ее донельзя. Естественно, что такого рода занятіе не дастъ литературнаго навыка». Таково приблизительно было мнѣніе о немъ и Хомякова, писавшаго къ тому же Кошелеву незадолго до смерти Петра Васильевича: «Грустно будетъ, если онъ умретъ; хотя собственно плодовъ отъ его письменной дѣятельности ждать нельзя, но онъ имѣетъ на свой округъ замѣчательное вліяніе. Чудная и чистая душа». Тотъ же Хомяковъ (или Языковъ) прозвалъ его «великимъ печальникомъ древней Руси», а Погодинъ мечталъ подѣлится съ нимъ разработку русской исторіи. Воздѣйствіе Петра Васильевича на друзей и прежде всего на старшаго брата, о которомъ мы уже говорили, — несомнѣнно; для себя же выработалъ онъ ясный и цѣльный взглядъ, руководившій имъ въ главномъ дѣлѣ его жизни—собираніи былинъ и пѣсень. Этотъ огромный трудъ начать былъ въ 1831 году и продолжался до по-

слѣднихъ дней жизни Кирѣевского. Сначала Петръ Васильевичъ собиралъ пѣсни самъ, разѣзжая по Россіи и ходя по деревнямъ; потомъ получалъ ихъ отовсюду, не щадя хлопотъ и денегъ. Двумя главными его помощниками были Павелъ Ивановичъ Якушкинъ и Михаилъ Александровичъ Стаховичъ. Каждую пѣсню Петръ Васильевичъ слыхалъ во всѣхъ имѣвшихся у него разнорѣчіяхъ, старательно обдумывая каждый стихъ и выбирая тотъ, который ему казался достовѣрнѣе и древнѣе. Къ изданію этого сборника, сдѣланному уже послѣ его смерти, мы вернемся ниже.

Ни на чемъ такъ не отпечатлѣлся характеръ Петра Васильевича, какъ на его библіотекѣ, которую онъ старательно собиралъ въ теченіе всей жизни. Это огромное количество книгъ, болѣе всего историческихъ, тщательно подобранныхъ, заботливо переплетенныхъ, съ надписью почти на каждой его бисернымъ почеркомъ «П. Кирѣвскій», со множествомъ вложенныхъ въ нихъ листочковъ, исписанныхъ замѣчаніями (и нигдѣ не исписанныхъ по полямъ)—все это свидѣтельствуетъ о щепетильной точности, о любви къ порядку и изяществу, о неимоверной усидчивости и трудолюбіи.

Съ внѣшней стороны Петръ Васильевичъ былъ простой степной помѣщикъ—съ усами, въ венгеркѣ, съ трубкой въ зубахъ и съ неотступно слѣдовавшимъ за нимъ всюду водолазомъ Киперомъ, котораго крестьяне называли «втиторомъ». Онъ любилъ охоту, и къ нему часто пріѣзжали московскіе друзья поохотиться. Надобно было поговорить съ нимъ, чтобы угадать ту громаду знаній, которая скрывалась за этою обыденною внѣшностью. Петръ Васильевичъ говорилъ и писалъ на семи языкахъ; а если считать славянскія нарѣчія, то въ библіотекѣ его заключается *шестнадцать* языковъ...

Кромѣ поѣздки въ 1838 году за границу съ больнымъ Языковымъ, за которымъ онъ ходилъ, какъ самая преданная нянька *), Петръ Васильевичъ большую часть года жилъ въ Слободѣ, пріѣзжая только ненадолго зимою въ Москву.

*) Объ этой поѣздкѣ см. въ статьѣ В. И. Шенрока „Николай Михайловичъ Языковъ“—Вѣстникъ Европы, 1897, Декабрь.

VII.

Домъ Авдотьи Петровны Елагиной у Красныхъ воротъ въ продолженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ былъ однимъ изъ умственныхъ центровъ Москвы и, быть можетъ, самымъ значительнымъ по числу и разнообразію посѣтителей, по совокупности умовъ и талантовъ. До обособленія двухъ сторонъ—славянофильской и западной—и нѣкоторое время послѣ него здѣсь можно было видѣть всѣхъ наиболѣе выдающихся представителей обоихъ направленій. Хомяковъ и Киръевскіе, Аксаковъ и Самаринъ встрѣчались здѣсь съ Герценомъ и Грановскимъ, Гоголь и Языковъ—со старикомъ Чаадаевымъ. Около нихъ тѣснилась многообѣщавшая молодежь—Валуевъ, Стаховичъ, Поповъ, Елагины.

Если бы начать выписывать всѣ имена, промелькнувшія за тридцать лѣтъ въ Елагинской гостиной, то пришлось бы назвать все, что было въ Москвѣ даровитаго и просвѣщеннаго—весь цвѣтъ поэзіи и науки. Въ этомъ—незабвенная заслуга Авдотьи Петровны, умѣвшей собрать этотъ блестящій кругъ *).

Время движется своимъ неудержимымъ ходомъ: умираютъ люди, блѣднѣютъ воспоминанія. Немногія страницы, написанныя живымъ перомъ очевидца, сохраняютъ намъ очерки и

*) Составитель настоящаго очерка позволяетъ себѣ не повторять здѣсь характеристики славянофиловъ, сдѣланной имъ въ книгѣ „Алексѣй Степановичъ Хомяковъ, его жизнь и сочиненія“. Москва, 1897. (Первоначально въ Русскомъ Архивѣ, 1896, книга 11).

и краски минувшаго. Разказы о Елагинскихъ вечерахъ разбросаны въ запискахъ современниковъ; а одинъ изъ нихъ сохранилъ намъ и облики ея гостей. Въ числѣ ихъ бывалъ талантливый портретистъ Эммануилъ Александровичъ Дмитриевъ-Мамоновъ. Въ его рисункахъ, составляющихъ такъ называемый Елагинскій альбомъ, оживаютъ передъ нами этотъ достопамятный вѣкъ, эти достопамятные люди.

Вотъ одинъ изъ этихъ рисунковъ, на которомъ изображены почти всѣ славянофилы и кое кто изъ близкихъ къ нимъ по убѣжденіямъ людей *). Въ просторной комнатѣ, у круглаго стола передъ диваномъ, сидитъ Хомяковъ—еще молодой и бритый—и, наклонившись, что-то читаетъ вслухъ. Влѣво отъ него, спокойный и сосредоточенный Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій слушаетъ, положивъ руку на столъ. Еще дальше виденъ затылокъ Панова и характерный профиль Валуева. У самого края слѣва, отдѣленный перегородкой дивана,—полный Д. Н. Свербеевъ, въ жабо и въ очкахъ, засунувъ руки въ карманы, тоже внимательно слушаетъ—сочувствуя, но очевидно не вполне соглашаясь. Вправо отъ Хомякова—старикъ А. А. Елагинъ, съ трубкой, въ большомъ креслѣ; К. С. Аксаковъ съ поднятымъ кулакомъ и нѣсколько закинутой головой; Шевыревъ въ бесѣдѣ съ молодымъ Елагинымъ; А. Н. Поповъ—съ видомъ нѣкоторой нерѣшимости и рядомъ съ нимъ, у праваго края, Петръ Васильевичъ Кирѣевскій—спокойно набивающій трубку, и около него огромный бульдогъ «Болвашка». Картинка эта, какъ болшинство Мамоновскихъ рисунковъ, немного каррикатурна, но чрезвычайно выразительна и живописна.

Мы видѣли, какъ совершилась перемѣна во взглядахъ Ивана Васильевича Кирѣевского, и какъ онъ черезъ то окончательно сошелся со своимъ братомъ и съ Хомяковымъ. Появленіе К. С. Аксакова и Ю. О. Самарина и послѣдовавшее за тѣмъ отдѣленіе ихъ отъ западниковъ около 1840 года можетъ считаться началомъ закрѣпленія направленія московскаго православно-славянскаго или славянофильскаго.

*) Рисунокъ этотъ воспроизведенъ въ Русскомъ Архивѣ, 1884, кн. 4.

Различіе во взглядахъ, корепное и непримиримое, повело къ спорамъ—не къ тѣмъ плодотворнымъ спорамъ людей, расходящихся въ частностяхъ при согласіи основныхъ началъ, которые только укрѣпляютъ единомысліе, а къ спорамъ безнадежнымъ и раздраженнымъ, все болѣе отдаляющимъ сопросниковъ другъ отъ друга и не кончающимся враждою только тогда, когда спорящіе—очень хорошіе люди. Такъ это и было: большинство славянофиловъ и западниковъ, переживая одни другихъ, поминали своихъ противниковъ добрымъ словомъ; но при жизни раздраженіе было велико... Замѣчательно, что изъ всѣхъ славянофиловъ, Кирѣевскіе, и особенно Иванъ Васильевичъ,—пользовались сравнительнымъ сочувствіемъ западниковъ. Долговременная ли принадлежность Ивана Васильевича къ западнымъ воззрѣніямъ до присоединенія его къ взглядамъ Хомякова и брата, мягкость ли и какое то врожденное рыцарство его характера, нѣкоторая ли отрѣшенность его ото всего житейскаго были тому причиною, но только большинство западниковъ готовы были иногда думать, что онъ славянофилъ по недоразумѣнію и какъ будто жалѣли его за это. «Я желалъ бы васъ нынче у себя видѣть, любезный Иванъ Васильевичъ», пишетъ ему Чаадаевъ: «чтобы съ вами прочесть рѣчи Пили и Росселя въ парламентѣ, но такъ какъ вы вѣроятно ко мнѣ не будете, то я посылаю вамъ листъ *Дебатовъ* съ этимъ западнымъ коммеражемъ. Не знаю почему, мнѣ что то очень хочется, чтобы вы это прочли. Можетъ статься вы *спокойно* замѣтите, что въ этомъ *явленіи европейской образованности* находится *односторонняя*, и передадите впечатлѣніе ваше безъ *ненависти и пристрастія*».—«Я отъ всей души уважаю Кирѣевскихъ», пишетъ Грановскій: «несмотря на совершенную противоположность нашихъ убѣжденій. Въ нихъ такъ много святости, прямоты, вѣры, какъ я еще не видалъ ни въ комъ». И это тотъ же Грановскій, который за два дня до смерти писалъ о всѣхъ вообще славянофилахъ: «Эти люди противны мнѣ какъ гробы». Грановскій, какъ спеціалистъ-историкъ, въ своихъ отзывахъ о славянофилахъ подчеркиваетъ, главнымъ образомъ, историческія

ихъ воззрѣнія; яснѣе и глубже ставить вопросъ Герценъ, говоря безъ вражды, но съ грустнымъ сожалѣніемъ объ И. В. Кирѣвскомъ: «Между имъ и нами была церковная стѣна».

Отрицательно относился къ славянофиламъ и университетъ съ попечителемъ графомъ Строгановымъ во главѣ. Не говоря объ отдѣльныхъ, весьма немногихъ личныхъ исключеній, Московскій университетъ въ цѣломъ, какъ выразитель извѣстнаго общаго мнѣнія, со времени раздѣленія двухъ направлений опредѣленно сталъ на сторону западниковъ и стоитъ на ней и до сихъ поръ. Мы только указываемъ на этотъ фактъ по отношенію къ судьбѣ стараго славянофильства; о значеніи его въ исторіи развитія самого университета здѣсь говорить не мѣсто, хотя въ немъ несомнѣнно заключается объясненіе многихъ чертъ этого развитія. Въ частности Ивану Васильевичу не удалось получить профессуры по философіи, о которой онъ одно время мечталъ; но конечно съ внѣшней стороны отказъ былъ вполне основателенъ, такъ какъ Кирѣвскій не имѣлъ ученой степени. Единственною связью его съ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія была должность почетнаго смотрителя Бѣлевскаго уѣзднаго училища, которую онъ исполнялъ очень старательно, вникая въ преподаваніе и успѣхи учениковъ. Онъ подалъ попечителю учебнаго округа двѣ записки: въ 1840 году «О направленіи и методахъ первоначальнаго образованія народа» и въ 1854 году «О преподаваніи славянскаго языка совмѣстно съ русскимъ».

Въ 1844 году Ивану Васильевичу неожиданно представилась возможность принять на себя изданіе «Москвитянина», отъ котораго отказывался Погодинъ. Кирѣвскій рѣшился на это, хотя официальнаго позволенія на свое имя и не получилъ. Онъ издалъ три книжки 1845 года; но, чувствуя себя связаннымъ въ этомъ дѣлѣ, не имѣлъ силъ продолжать изданіе и лѣтомъ 1845 года уѣхалъ въ деревню, гдѣ прожилъ до осени 1846 года. За это время онъ потерялъ дочь и схоронилъ многихъ друзей, въ томъ числѣ Валুева и Языкова. Трогательны его письма къ матери по поводу смерти послѣд-

ного: сдерживая собственное горе, онъ думаетъ только о томъ, какъ бы облегчить этотъ ударъ для своихъ близкихъ.

Прежде чѣмъ перейти къ трудамъ послѣднихъ лѣтъ жизни Ивана Васильевича, взглянемъ на то, что было имъ написано за двадцать почти лѣтъ печатнаго молчанія, включая сюда и короткое время изданія «Москвитянина», то-есть, съ 1832 по 1852 годъ.

Еще раньше статейъ о Языковѣ и о русскихъ писателяхъ, то-есть, еще во время изданія «Европейца» и кажется для него, Кирѣевскій началъ писать романъ «Двѣ жизни», но остановился на второй главѣ. Послѣ этого продолженія шести лѣтъ намъ достовѣрно неизвѣстно ни одного его писаннаго труда. Въ это время, какъ мы знаемъ, совершался въ немъ переломъ въ старомъ воззрѣнii и выработка новаго. И вотъ отъ 1838 года мы имѣемъ два небольшихъ его произведенія: въ первомъ изъ нихъ это новое воззрѣнiе выражено въ художественной, во второмъ—въ научной формѣ. Это—неоконченная повѣсть «Островъ» и статья «Въ отвѣтъ А. С. Хомякову».

Замыселъ «Острова» былъ повидимому широкъ, и намъ остается пожалѣть о томъ, что онъ не осуществился. Въ этой повѣсти Кирѣевскій задумалъ изобразить вступленiе въ жизнь юноши, воспитаннаго въ полномъ отчужденiи отъ міра, въ идеальной семейной обстановкѣ. Юноша этотъ—Александръ Палеологъ, потомокъ греческихъ императоровъ—выросъ на уединенномъ, извѣстномъ лишь немногимъ островѣ св. Георгія. Онъ уѣзжаетъ оттуда, влекомый жаждою узнать міръ и жизнь, передъ самою войною за освобожденiе Греціи. Въ небольшомъ написанномъ началѣ этой повѣсти любопытна не самая нить разсказа, дальнѣйшее направленiе которой не совсемъ ясно: любопытно то глубокое, теплое сочувствiе съ религіозной жизнью Православнаго Востока, которымъ проникнутъ разсказъ, и тѣ немногія картины недавней исторiи, которыя бѣглыми очерками мелькаютъ среди безхитростной передачи немногосложныхъ событiй повѣсти. Впечатлѣнiе живой вѣры въ непоколебимость Православiя и ясности ре-

лигіозно-філософскаго взгляда на исторію и жизнь, производимое чтеніемъ этихъ немногихъ страницъ,—очень сильно.

Зимою 1838 — 1839 года Иванъ Васильевичъ, живя въ Москвѣ, устраивалъ у себя еженедѣльные собранія, участники которыхъ читали свои произведенія научныя и литературныя. На одномъ изъ нихъ Хомяковъ прочелъ свою статью «О старомъ и новомъ», написанную, какъ думаютъ, нарочно съ цѣлью вызвать возраженіе со стороны И. В. Кирѣевскаго, еще не высказавшаго до тѣхъ поръ въ связномъ изложеніи своихъ измѣнившихся воззрѣній. Если сравнимъ статью Кирѣевскаго «Въ отвѣтъ А. С. Хомякову» съ написанною имъ за семь лѣтъ статью «Девятнадцатый вѣкъ», то увидимъ его теперь на слѣдующей ступени развитія, но еще не дошедшимъ до полного выраженія своихъ убѣжденій — быть можетъ даже и не вполне выяснившимъ ихъ себѣ самому. Въ руководящей статьѣ «Европейца» заключается только неясный намекъ на существованіе самобытнаго начала русской образованности: теперь Кирѣевскій утвердительно говорить, что начало это существуетъ, и что искать его слѣдуетъ въ Православіи; но подробнаго развитія этой мысли мы и здѣсь еще не находимъ, хотя всѣ основныя черты послѣдующихъ построеній автора намѣчены уже и здѣсь. Поэтому статья эта имѣетъ значеніе не столько сама по себѣ, сколько какъ отмѣтка въ ходѣ умственнаго развитія мыслителя. Прошло еще шесть лѣтъ. Въ изданныхъ Иваномъ Васильевичемъ трехъ книжкахъ «Москвитянина» напечатанъ былъ цѣлый рядъ его статей. Часть ихъ—объ изданіи сочиненій Паскаля, о лекціяхъ Шевырева, о сельскомъ хозяйствѣ, и большинство статей библіографическихъ—суть лишь небольшія редакціонныя замѣтки. Изложеніе рѣчи Шеллинга напоминаетъ о заграничной поѣздкѣ Ивана Васильевича; къ пространному извлеченію изъ автобіографіи нѣмецкаго философа Стефенса прибавлено нѣсколько словъ предисловія и послѣсловія. Въ ряду всѣхъ этихъ статей выдается отзывъ о повѣсти Ѳ. Глинки «Лука да Марья», по поводу которой Кирѣевскій высказываетъ въ высшей степени вѣрный взглядъ на значеніе и за-

дачи книгъ для народнаго чтенія. Онъ требуетъ отъ этихъ книгъ серьезности, содержательности и предостерегаетъ отъ распространенія въ народѣ произведеній легкихъ и ничтожныхъ. И теперь, черезъ полвѣка, трудно сказать что нибудь болѣе вѣское и разумное, чѣмъ эти немногія строки; тогда же они должны были показаться чѣмъ то неслыханнымъ, и врядъ ли даже нашли сочувствіе во многихъ читателяхъ. Но наибольшее значеніе изъ всего помѣщенного Иваномъ Васильевичемъ въ «Москвитиниѣ» имѣетъ его «Обозрѣніе современнаго состоянія литературы», состоящее изъ трехъ послѣдовательныхъ статей — по одной въ каждой изъ трехъ изданныхъ имъ книгъ журнала. Разсматривая это «Обозрѣніе» въ связи съ указанною выше статьею въ отвѣтъ Хомякову, мы видимъ въ немъ уже не вопросъ, поставленный еще колеблющимся умомъ, и даже не краткій отвѣтъ на вопросъ, а послѣдовательный выводъ цѣлаго ряда положеній, въ которыхъ раскрывается взглядъ и убѣжденіе автора.

Въ первой статьѣ, опредѣливъ современное состояніе умовъ и литературы въ различныхъ странахъ Европы, Кирѣевскій приходитъ къ убѣжденію, что «начало Европейской образованности, развившееся во всей исторіи Запада, въ наше время оказывается уже неудовлетворительнымъ для высшихъ требованій просвѣщенія» и что «современный характеръ Европейскаго просвѣщенія, по своему историческому, философскому и жизненному смыслу совершенно однозначителенъ съ характеромъ той эпохи Римско-Греческой образованности, когда, развившись до противорѣчія самой себѣ, она по естественной необходимости должна была принять въ себя другое, новое начало, хранившееся у другихъ племенъ, не имѣвшихъ до того времени всемірно-исторической значительности».

Во второй статьѣ Кирѣевскій опровергаетъ два крайнихъ мнѣнія: одно, видящее исходъ изъ несовершенства русской образованности въ полномъ воспріятіи Россіею образованности западной, и другое — что Россіи необходимо вернуться во всемъ къ прошедшимъ формамъ своей старины. Въ противуположность имъ обоемъ онъ указываетъ на необходимость,

пользуясь плодами образованности Европейской, проникать ее новымъ смысломъ, почерпнутымъ изъ началъ древней русской образованности. Третья статья посвящена разбору текущихъ явленій русской словесности, или собственно русскихъ журналовъ.

Такимъ образомъ въ «Москвитянинѣ» Кирѣевскій уже довольно подробно выразилъ свой новый взглядъ на задачи русскаго просвѣщенія. Ему оставалось сдѣлать еще одинъ шагъ, чтобы высказаться вполне. Черезъ семь лѣтъ появилась его статья «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи». Но прежде чѣмъ говорить о ней, dokonчимъ немногосложный уже рассказъ о послѣднихъ годахъ жизни обоихъ братьевъ.

Съ тѣхъ поръ какъ Иванъ Васильевичъ, отказавшись отъ изданія «Москвитянина», прожилъ полтора года въ деревнѣ, онъ продолжалъ проводить тамъ лѣто, пріѣзжая на зимніе мѣсяцы въ Москву. Пріѣзды сюда Петра Васильевича были гораздо короче: онъ, съ небольшими отлучками, жилъ почти безвыѣздно въ Слободкѣ. Въ началѣ пятидесятихъ годовъ здоровье его замѣтно пошатнулось, хотя онъ велъ самый умѣренный образъ жизни; Иванъ же Васильевичъ, напротивъ, пользовался хорошимъ здоровьемъ, хотя и казался старше своихъ лѣтъ. Во внѣшности братьевъ было мало общаго: Петръ Васильевичъ, носилъ усы и длинные волосы, Иванъ Васильевичъ брилъ бороду, оставляя бакенбарды, и носилъ очки. Въ лицѣ его былъ оттѣнокъ грусти, происходившій, быть можетъ, отъ привычки къ постоянному самоуглубленію, связанной съ его философскими занятіями.

Мы уже замѣтили выше, что Иванъ Васильевичъ былъ въ своихъ сочиненіяхъ по призванію дѣятелемъ общественнымъ, и хотя вопросы житейскіе и практическіе мало занимали его, но и въ занимавшихъ его вопросахъ, какъ бы ни были они духовны и отвлеченны, онъ всегда имѣлъ въ виду поученіе ближнихъ, воздѣйствіе на общественную мысль. Поэтому онъ писалъ не для того только, чтобы излагать на-зрѣвавшіе въ его умѣ выводы, но и для того, чтобы его чи-

тали *теперь же*: изъ всѣхъ старшихъ славянофиловъ онъ по преимуществу можетъ быть названъ публицистомъ. Но время, въ которое онъ жилъ, было въ высшей степени неблагоприятно для публицистической дѣятельности; а писать, какъ Хомяковъ, не думая о томъ, когда будетъ напечатано написанное имъ— у него не было охоты. Отсюда неразрывная связь появленія его произведеній съ короткими промежутками, въ которые онъ могъ высказываться въ печати. «Европеецъ»—«Москвитянинъ»—«Московский Сборникъ»—«Русская Бесѣда»—этими четырьмя приступами исчерпывается вся литературная дѣятельность Кирѣвскаго. Послѣ запрещенія «Европейца» онъ (кромя нѣсколькихъ страницъ въ отвѣтъ Хомякову) молчитъ до «Москвитянина»; оставивъ послѣдній журналъ—молчитъ опять. Но появляется «Московский Сборникъ»—и Иванъ Васильевичъ пишетъ и помѣщаетъ въ немъ статью о характерѣ просвѣщенія Европы, замѣчательную по цѣльности и широтѣ захвата мысли. Запрещаютъ «Московский Сборникъ»—Кирѣвскій замолкаетъ, повидимому, окончательно; но въ 1856 году нарождается «Русская Бесѣда»—и во второй же книгѣ ея мы видимъ его статью «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи». Это—только начало задуманнаго имъ труда, долженствовавшего вмѣстить сущность выработаннаго имъ религіозно-философскаго направленія. Продолженію статьи суждено было остаться въ отрывочныхъ наброскахъ...

Весною 1856 года Иванъ Васильевичъ поѣхалъ въ Петербургъ къ старшему сыну, кончавшему курсъ въ лицей. Здѣсь, 10 Іюня, онъ захворалъ холерою. При немъ, кромѣ сына, были вѣрные друзья его, А. В. Веневитиновъ и графъ Е. Е. Комаровскій. Но ихъ самоотверженный уходъ не могъ спасти больного, и 12 Іюня его не стало...

Какъ громъ изъ яснаго неба поразила друзей смерть Кирѣвскаго. Чтобы дать понятіе о произведенномъ ею впечатлѣніи, приведемъ нѣсколько словъ изъ писемъ Хомякова къ Попову и Кошелеву:

«Какой жестокой ударъ для насъ всѣхъ, любезный Александръ Николаевичъ, въ смерти Ивана Васильевича! Какая

невознаградимая потеря для нашей бѣдной науки! Его спеціальность была философія, которой другіе отдають только короткіе досуги, и эта спеціальность строилась у него такъ своеобразно, что мы могли надѣяться видѣть когда нибудь у себя начало новой философской эры, которой позавидовали бы другіе народы. Судьбы Божіи въ отношеніи къ нашему просвѣщенію имѣютъ какой то характеръ особенной строгости: какъ будто бы въ наказаніе за долгую нашу ложь падаютъ удары на немногихъ, стремящихся возвратиться къ истинѣ, испытывая ихъ терпѣніе. Авось Богъ же дастъ, что поле не опустѣетъ, и что новые будутъ возникать дѣятели, какъ вѣтви на священномъ деревѣ: *uno avulso non deficit alter*. Но для друзей, для семьи (т. е. матери и братьевъ) замѣны конечно нѣтъ. Вынесетъ ли слабое здоровье Авдотьи Петровны? Да и Петръ Васильевичъ не очень-то надеженъ. Вотъ два года все хвораетъ. На другой день послѣ Петрова я хочу къ нимъ съѣздить дня на два. И какъ Кирѣевскій было славно пошелъ! Теперь у меня корректурные листы его статьи. Нужно объ немъ сказать нѣсколько словъ и указать на его значеніе и на путь, который онъ отчасти проложилъ. Говорятъ, онъ вамъ разсказалъ весь планъ и содержаніе второй половины. Если такъ, пожалуйста передайте мнѣ, что вы помните, чтобы я на дняхъ могъ составить для «Русской Бесѣды» нѣчто вродѣ примѣчанія съ объясненіемъ его мысли. Не откажитесь отъ этого добраго труда». — «Я къ тебѣ не писалъ, любезный Кошелевъ, послѣ нашей общей потери. Какая тяжелая, какая неожиданная! Кирѣевскій не только намъ былъ дорогой другъ: онъ былъ для «Бесѣды» (въ этомъ я разумѣю не одинъ печатный журналъ) необходимымъ дѣлательемъ. Его спеціальность не имѣетъ другаго представителя; да если бы и имѣла, то не найдется такого, который бы имѣлъ его особенныя, свойственныя ему одному достоинства. Знаешь ли, когда мнѣ сказали объ его смерти, (это сказано мнѣ было при входѣ въ домъ, на возвратѣ изъ Смоленской губерніи), послѣ перваго потрясенія, мнѣ тотъ часъ пришелъ въ голову ты, его старѣйшій другъ. Какъ вынесъ ты этотъ ударъ? Онъ тѣмъ болѣе долженъ

былъ тебя поразить, что, судя по твоему письму къ Самарину, ты какъ будто былъ особенно бодръ и веселъ. Я долго не могъ опомниться. Какъ то вынесетъ Авдотья Петровна и бѣдный Петръ Васильевичъ, который такъ давно хвораетъ? Нынче въ ночь я ѣду къ нимъ: раньше не могъ, потому что говѣлъ. Какая то особенная судьба Ивана Васильевича Кирѣевского! То цензура и власть царская останавливали его: то теперь смерть, и всякій разъ на половинѣ труда».

Опасенія друзей, къ сожалѣнію, оправдались: 25 Октября скончался Петръ Васильевичъ, переживъ своего друга и брата лишь нѣсколькими мѣсяцами. Въ Оптиной Пустыни покоится прахъ обоихъ...

Ближайшею заботою всѣхъ, кто дорожилъ духовнымъ наслѣдіемъ Кирѣевскихъ, было изданіе всего ими написаннаго. Въ 1860 году Общество Любителей Россійской Словесности приступило къ печатанію собранныхъ Петромъ Васильевичемъ пѣсенъ; въ слѣдующемъ году А. И. Кошелевъ издалъ въ двухъ томахъ сочиненія Ивана Васильевича и при нихъ краткій біографическій очеркъ съ выдержками изъ его писемъ. Нѣкоторыя небольшія статьи и замѣтки его остаются неизданными.

VIII.

Труды Кирѣевскихъ—по крайней мѣрѣ почти всѣ писанные труды ихъ—передъ нами.

Пѣсни, собранныя Петромъ Васильевичемъ, изданы Обществомъ Любителей Россійской Словесности, въ десяти выпускахъ. Изъ трехъ слишкомъ тысячъ страницъ этого изданія большую часть составляютъ самыя пѣсни, то есть собственно пѣсни былевья, остальную—замѣчанія П. А. Безсонова, которому изданіе было поручено Обществомъ. Замѣчанія эти мѣстами разрастаются въ обширныя статьи, оцѣнка которыхъ не входитъ въ число задачъ настоящаго изложенія. Трудно, почти невозможно сказать, насколько взгляды издателя и выводы его согласны со взглядами собирателя и съ тѣми выводами, которые онъ сдѣлалъ бы, если бы издавалъ собранныя имъ пѣсни самъ. Мы знаемъ изъ приведенныхъ выше словъ самого Петра Васильевича, что онъ не признавалъ за собою способности къ труду собственно литературному. Его многолѣтнія историческія занятія доставили ему самому широкій и ясный взглядъ на русскую исторію, о глубинѣ и самобытности котораго мы можемъ судить по немногимъ отзывамъ его друзей и по его единственной небольшой статьѣ «О древней русской исторіи», напечатанной въ третьей книжкѣ «Москвитянина» 1845 года; но для потомства тридцатилѣтніе историческіе труды его погибли.

Статья «О древней русской исторіи» есть собственно критика на статью Погодина «Параллель Русской Исторіи съ

Исторією Западныхъ Европейскихъ Государствъ»—критика очень живая и острая. Кирѣевскій цитатами изъ статьи Погодина доказываетъ противорѣчіе во взглядахъ послѣдняго. Положительная часть статьи посвящена доказательству того, что въ древней до-Варяжской Руси внутренняя связь сельскихъ міровъ, городскихъ общинъ, племенъ и наконецъ всей земли, хотя и слабѣла по мѣрѣ расширенія указанныхъ общественныхъ границъ, но все же несомнѣнно существовала. Статья не кончена, и трудно сказать, каково было бы ея продолженіе; но и изъ того, что написано и напечатано, видна обширная ученость автора, основательное знакомство его съ исторіей всѣхъ славянскихъ племенъ, съ коими онъ сравниваетъ Русь, и тонкое пониманіе духа древности.

Весьма возможно, что если бы Петръ Васильевичъ прожилъ дольше и самъ издалъ свои пѣсни (если бы собрался это сдѣлать, что также не достовѣрно), — то никакого связаннаго изложенія его взгляда на нихъ при сборникѣ бы не появилось. Поэтому почти нѣтъ смысла доискиваться до того, насколько П. А. Безсоновъ угадалъ мнѣнія Кирѣевского: слѣдуетъ только при чтеніи помнить, что замѣчанія издателя—нѣчто совсѣмъ особое, и не принимать ихъ за мысли Кирѣевского. Ему лично принадлежитъ лишь предисловіе къ духовнымъ стихамъ, въ которомъ онъ рассказываетъ исторію своего собранія, да небольшое вступленіе къ пѣснямъ былевымъ или, какъ онъ называлъ ихъ—историческимъ. Достаточно прочесть это вступленіе, чтобы составить себѣ понятіе о томъ, насколько Петръ Васильевичъ владѣлъ предметомъ: на двухъ страницахъ мы встрѣчаемъ нѣсколько живыхъ и своеобразныхъ мыслей и приступаемъ къ чтенію пѣсенъ съ твердо и ясно установленнымъ взглядомъ на русское былевое творчество.

Такимъ образомъ главная заслуга П. В. Кирѣевского передъ потомствомъ состоитъ въ томъ, что онъ собралъ, разобралъ и приготовилъ къ изданію произведенія русскаго былеваго творчества въ такомъ объемѣ и съ такимъ вниманіемъ, какъ никто до него. Всѣ собиравшіе послѣ него—Рыбниковъ,

Гильфердингъ и другіе — шли по его слѣдамъ. Въ частности быть можетъ, труды ихъ представляютъ шагъ впередъ противъ труда Кирѣвскаго; но ему принадлежитъ честь *почина и полнота*..

Весь характеръ собранія и все, что мы знаемъ о Петрѣ Васильевичѣ, заставляетъ насъ думать, что народное пѣснотворчество занимало его по отношенію къ духу, содержанію и тексту пѣсенъ, и что онъ не задавался цѣлью отыскать самые законы древняго русскаго стиха, хотя вѣроятно чуялъ и, быть можетъ, даже сознавалъ ихъ *). На то, что Петръ Васильевичъ имѣлъ опредѣленный взглядъ на гармонизацію русскихъ пѣсенъ, есть неясный намекъ въ одномъ изъ писемъ М. А. Стаховича къ А. Н. Попову **).

Другая заслуга Петра Васильевича—его воздѣйствіе на окружающихъ и прежде всего на брата—не подлежитъ оцѣнкѣ. Такое воздѣйствіе можно признавать или отвергать, но нельзя относиться къ нему какъ къ событію, какъ къ книгѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что Петръ Кирѣвскій былъ однимъ изъ тѣхъ немногихъ людей, которыхъ нравственная чистота, высота духовнаго строя, твердость убѣжденій и живая ихъ самобытность бывають зиждительною силою лучшихъ эпохъ и поколѣній; но тайна ихъ силы умираетъ вмѣстѣ съ ними, а то, что живетъ послѣ нихъ, такъ неуловимо, что ускользаетъ отъ опредѣленія и оцѣнки. Такими людьми живъ народъ; они—историческіе дѣятели не менѣе тѣхъ, чья дѣятельность замѣтна и видима. Мы благословляемъ ихъ память, но не можемъ облечь рассказъ о нихъ въ опредѣленные формы.

Иное значеніе имѣетъ дѣятельность Ивана Васильевича. Его дѣло закрѣплено—написано, напечатано—и судить о немъ намъ легче. Переходя къ изложенію сущности его ученія, напомнимъ, что главнѣйшимъ выраженіемъ его служатъ двѣ статьи: «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отноше-

*) Этотъ вопросъ поднять былъ уже послѣ него и, по отношенію къ стиху былевому, въ значительной мѣрѣ рѣшенъ покойнымъ П. Д. Голохвостовымъ.

**) Русскій Архивъ, 1886, кн. 3, стр. 324.

ни къ просвѣщенію Россіи» и «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи». Первая, наиболѣе цѣльная и законченная изъ всего написаннаго Кирѣевскимъ, вызвала статью Хомякова, «По поводу статьи Кирѣевскаго»; это—отчасти поясненіе, отчасти—возраженіе. Вторая, оставшаяся безъ продолженія, была дополнена Хомяковымъ «По поводу отрывковъ, найденныхъ въ бумагахъ И. В. Кирѣевскаго». Такимъ образомъ Хомяковъ явился *истолкователемъ* ученія Кирѣевскаго. Но уже самыя заглавія, приданныя имъ своимъ статьямъ—*по поводу* высказаннаго Кирѣевскимъ—указываютъ на то, что онъ даже и во второй статьѣ имѣлъ въ виду не столько передачу мыслей своего друга, сколько вообще разработку поставленныхъ имъ вопросовъ. Поэтому намъ кажется, что и на послѣднюю статью Хомякова слѣдуетъ смотрѣть какъ на самостоятельное разсужденіе, *вызванное* чтеніемъ замѣтокъ Кирѣевскаго. Въ книгѣ о Хомяковѣ составитель настоящаго очерка пользовался обѣими упомянутыми его статьями наравнѣ съ остальными сочиненіями Алексѣя Степановича. Оставляя ихъ на этотъ разъ въ сторонѣ, стараемся только на основаніи словъ самого Кирѣевскаго представить въ сжатомъ видѣ то, что имъ сказано самостоятельнаго и новаго. Содержаніе статьи «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи» очень точно опредѣляется ея заглавіемъ.

Съ Петра Великаго до половины XIX вѣка русскіе образованные люди единственнымъ источникомъ просвѣщенія считали Западъ. Но съ тѣхъ поръ въ просвѣщеніи западно-европейскомъ и въ просвѣщеніи европейско-русскомъ произошла перемѣна *).

*) Отсюда и до конца главы мысли Кирѣевскаго изложены тѣмъ же способомъ, какъ и мысли Хомякова во второй части книги автора о немъ, именно изложеніе состоитъ изъ ряда подлинныхъ выписокъ, связанныхъ небольшими переходными періодами; но такъ какъ выписки сдѣланы всего лишь изъ двухъ статей и притомъ въ послѣдовательномъ порядкѣ послѣднихъ, то страницъ печатнаго изданія не указано; зато выписки обозначены вносными знаками.

«Европейское просвѣщеніе, во второй половинѣ XIX вѣка, достигло той полноты развитія, гдѣ его особенное значеніе выразилось съ очевидною ясностію для умовъ, хотя нѣсколько наблюдательныхъ. Но результатъ этой полноты развитія, этой ясности итоговъ былъ—почти всеобщее чувство недовольства и обманутой надежды. Не потому западное просвѣщеніе оказалось неудовлетворительнымъ, чтобы науки на Западѣ утратили свою жизненность: напротивъ, онѣ процвѣтали, повидимому, еще болѣе, чѣмъ когда нибудь; не потому, чтобы та или другая форма внѣшней жизни тяготѣла надъ отношеніями людей или препятствовала развитію ихъ господствующаго направленія: напротивъ, борьба съ внѣшнимъ препятствіемъ могла бы только укрѣпить пристрастіе къ любимому направленію, и никогда, кажется, внѣшняя жизнь не устраивалась послушнѣе и согласнѣе съ ихъ умственными требованіями. Но чувство недовольства и безотрадной пустоты легло на сердце людей, которыхъ мысль не ограничивалась тѣснымъ кругомъ минутныхъ интересовъ, именно потому, что самое торжество ума европейскаго обнаружило односторонность его коренныхъ стремленій; потому что при всемъ богатствѣ, при всей, можно сказать, громадности частныхъ открытій и успѣховъ въ наукахъ, общій выводъ изъ всей совокупности знанія представилъ только отрицательное значеніе для внутренняго сознанія человѣка; потому что при всемъ блескѣ, при всѣхъ удобствахъ наружныхъ усовершенствованій жизни, самая жизнь лишена была своего существеннаго смысла: ибо, не проникнутая никакимъ общимъ, сильнымъ убѣжденіемъ, она не могла быть ни украшена высокою надеждою, ни согрѣта глубокимъ сочувствіемъ. Многовѣковой холодный анализъ разрушилъ всѣ тѣ основы, на которыхъ стояло европейское просвѣщеніе отъ самого начала своего развитія; такъ что собственныя его коренныя начала, изъ которыхъ оно выросло, сдѣлались для него посторонними, чужими, противорѣчащими его послѣднимъ результатамъ; между тѣмъ какъ прямою собственностію его оказался этотъ самый разрушившій его корни анализъ, этотъ самодвижущійся ножъ разума, этотъ отвлече-

ченный силлогизмъ, не признающій ничего кромѣ себя и личнаго опыта, этотъ самовластный разсудокъ, или, какъ вѣрнѣе назвать эту логическую дѣятельность, отрѣшенную отъ всѣхъ другихъ познавательныхъ силъ человѣка, кромѣ самыхъ грубыхъ, самыхъ первыхъ чувственныхъ данныхъ и на нихъ однихъ созидающую свои воздушныя діалектическія построения».

Послѣднія философскія системы, распространяясь въ Россіи, увлекли немногихъ; другіе—«обратили вниманіе свое на тѣ особенныя начала просвѣщенія, неоцѣненныя европейскимъ умомъ, которыми прежде жила Россія и которыя теперь еще замѣчаются въ ней помимо европейскаго вліянія».

Тогда началось изученіе памятниковъ старины.

«Впрочемъ, понять и выразить эти основныя начала, изъ которыхъ сложилась особенность русскаго быта, не такъ легко, какъ, можетъ быть, думаютъ нѣкоторые. Ибо, коренныя начала просвѣщенія Россіи не раскрылись въ ея жизни до той очевидности, до какой развились начала западнаго просвѣщенія въ его исторіи. Чтобы ихъ найти, надобно искать; они не бросаются сами въ глаза, какъ бросается образованность европейская. Европа высказалась вполнѣ. Въ девятнадцатомъ вѣкѣ она, можно сказать, dokonчила кругъ своего развитія, начавшійся въ девятомъ. Россія, хотя въ первые вѣка своей исторической жизни была образована не менѣе Запада, однако же, вслѣдствіе постороннихъ и, повидимому, случайныхъ препятствій, была постоянно останавливаема на пути своего просвѣщенія такъ, что для настоящаго времени могла она сберечь не полное и досказанное его выраженіе, но только одни, такъ сказать, намеки на его истинный смыслъ, одни его первыя начала и ихъ первые слѣды на умѣ и жизни Русскаго человѣка».

Въ исторіи Россіи не дѣйствовали три основныя стихіи, создавшія исторію Европы.

«Между тѣмъ эти, чуждыя Россіи, три элемента первоначальной образованности европейской: римская церковь, древне-римскій міръ и возникшая изъ завоеванія государствъ

венность опредѣлили весь кругъ дальнѣйшаго развитія Европы,—какъ три точки въ пространствѣ опредѣляютъ круговую линію, которая черезъ нихъ проходитъ».

«Разсудочность, проникавшая римскую жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, отразилась и въ умственной особенности Запада, всюду замѣняя внутреннее содержаніе; она заразила собою и западное христіанство. Политическая же жизнь Запада основалась на насилиі».

«Но, начавшись насиліемъ, государства европейскія должны были развиваться переворотами, ибо развитіе государства есть ничто иное, какъ раскрытіе внутреннихъ началъ, на которыхъ оно основано. Потому европейскія общества, основанныя насиліемъ, связанныя формальностью личныхъ отношеній, проникнутыя духомъ односторонней разсудочности, должны были развить въ себѣ не общественный духъ, но духъ личной отдѣленности, связываемый узами частныхъ интересовъ и партій. Отчего исторія европейскихъ государствъ, хотя представляетъ намъ иногда внѣшніе признаки процвѣтанія жизни общественной, но въ самомъ дѣлѣ, подъ общественными формами скрывались постоянно однѣ частныя партіи, для своихъ частныхъ цѣлей и личныхъ системъ забывавшія о жизни цѣлаго государства. Партіи папскія, партіи императорскія, партіи городскія, партіи церковныя, придворныя, личныя, правительственныя, религіозныя, политическія, народныя, среднесословныя, даже партіи метафизическія, постоянно боролись въ европейскихъ государствахъ, стараясь каждая перевернуть его устройство согласно своимъ личнымъ цѣлямъ. Поэтому развитіе въ государствахъ европейскихъ совершалось не спокойнымъ возрастаніемъ, но всегда посредствомъ болѣе или менѣе чувствительнаго переворота. Переворотъ былъ условіемъ всякаго прогресса, покуда самъ сдѣлался уже не средствомъ къ чему нибудь, но самобытною цѣлью пародныхъ стремленій. Очевидно, что при такихъ условіяхъ образованность европейская должна была окончиться разрушеніемъ всего умственнаго и общественнаго зданія, ею же самою воздвигнутаго. Однако же это распаденіе разума

на частныя силы, это преобладаніе разсудочности надъ другими дѣятельностями духа, которое въ послѣдствіи должно было разрушить все зданіе европейской средневѣковой образованности, въ началѣ имѣло дѣйствіе противное и произвело тѣмъ быстрѣйшее развитіе, чѣмъ оно было одностороннѣе. Таковъ законъ уклоненія человѣческаго разума: наружность блеска при внутреннемъ потемнѣніи».

Разсудочность господствовала въ схоластикѣ, стремившейся подъ понятія богословскія подложить разсудочно-метафизическое основаніе.

«Живое, цѣльное пониманіе внутренней, духовной жизни и живое, непредупрежденное созерцаніе внѣшней природы равно изгонялись изъ оцѣпленного круга западнаго мышленія, первое подъ именемъ «мистики» — по натурѣ своей ненавистой для схоластической разсудочности (сюда относилась и та сторона ученія православной церкви, которая не согласовалась съ западными системами); — второе преслѣдовалось прямо подъ именемъ «безбожія» (сюда относились тѣ открытія въ наукахъ, которыя разнорѣчили съ современнымъ понятіемъ богослововъ). Ибо схоластика сковала свою вѣру съ своимъ тѣснымъ разумѣніемъ науки въ одну неразрывную судьбу».

Съ паденіемъ схоластики начало разсудочности осталось и легло въ основаніе всей новѣйшей философіи.

«Между тѣмъ въ то же время, какъ Римское богословіе развивалось посредствомъ схоластической философіи, писатели Восточной Церкви, не увлекаясь въ односторонность силлогистическихъ построеній, держались постоянно той полноты и цѣльности умозрѣнія, которая составляетъ отличительный признакъ христіанскаго любомудрія».

Имъ гораздо болѣе, чѣмъ богословамъ западнымъ, извѣстны были творенія древнихъ греческихъ философовъ, причемъ они менѣе подпали вліянію Аристотеля, предпочитая ему Платона. Но Западъ не хотѣлъ знать восточной церковной философіи.

«Ученія св. отцевъ Православной Церкви перешли въ

Росію, можно сказать, вмѣстѣ съ первымъ благовѣстомъ христіанскаго колокола. Подъ ихъ руководствомъ сложился и воспитался коренной русскій умъ, лежащій въ основѣ русскаго быта. Обширная русская земля, даже во времена раздѣленія своего на мелкія княжества, всегда сознавала себя какъ одно живое тѣло и не столько въ единствѣ языка находила свое притягательное средоточіе, сколько въ единствѣ убѣжденій, происходящихъ изъ единства вѣрованія въ церковныя постановленія. Ибо ея необозримое пространство было все покрыто, какъ бы одною непрерывною сѣтью, неисчислимымъ множествомъ уединенныхъ монастырей, связанныхъ между собою сочувственными нитями духовнаго общенія. Изъ нихъ единообразно и единомысленно разливался свѣтъ сознанія и науки во всѣ отдѣльныя племена и княжества. Ибо не только духовныя понятія народа изъ нихъ исходили, но и всѣ его понятія нравственныя, общежительныя и юридическія, переходя черезъ ихъ образовательное вліяніе, опять отъ нихъ возвращались въ общественное сознаніе, принявъ одно общее направленіе. Безразлично составляясь изъ всѣхъ классовъ народа, изъ высшихъ и низшихъ ступеней общества, духовенство, въ свою очередь, во всѣ классы и ступени распространяло свою высшую образованность, почерпая ее прямо изъ первыхъ источниковъ, изъ самого центра современнаго просвѣщенія, который тогда находился въ Царьградѣ, Сиріи и на Святой Горѣ. И образованность эта такъ скоро возросла въ Россіи, и до такой степени, что и теперь даже она кажется намъ изумительною, когда мы вспомнимъ, что нѣкоторые изъ удѣльныхъ князей XII и XIII вѣка уже имѣли такія бібліотеки, съ которыми многочисленностію томовъ едва могла равняться первая тогда на Западѣ бібліотека Парижская; что многіе изъ нихъ говорили на греческомъ и латинскомъ языкѣ такъ же свободно, какъ на русскомъ, а нѣкоторые знали при томъ и другіе языки европейскіе; что въ нѣкоторыхъ удѣльнѣвшихъ до насъ писаніяхъ XV вѣка мы находимъ выписки изъ русскихъ переводовъ такихъ твореній греческихъ, которыя не только не были извѣстны Европѣ,

но даже въ самой Греціи утратились послѣ ея упадка и только въ недавнее время и уже съ великимъ трудомъ могли быть открыты въ неразобранныхъ сокровищницахъ Аѳона; что въ уединенной тишинѣ монашескихъ келій, часто въ глуши лѣсовъ, изучались и переписывались, и до сихъ поръ еще уцѣлѣли въ старинныхъ рукописяхъ, Словенскіе переводы тѣхъ отцевъ церкви, которыхъ глубокомысленныя писанія, исполненныя высшихъ богословскихъ и философскихъ умозрѣній, даже въ настоящее время едва ли каждому нѣмецкому профессору любомудрія придутся по силамъ мудрости (хотя, можетъ быть, ни одинъ не сознается въ этомъ); наконецъ, когда мы вспомнимъ, что эта русская образованность была такъ распространена, такъ крѣпка, такъ развита и потому пустила такіа глубокіе корни въ жизнь русскую, что не смотря на то, что уже полтора столѣтія прошло съ тѣхъ поръ, какъ монастыри наши перестали быть центромъ просвѣщенія; несмотря на то, что вся мыслящая часть народа своимъ воспитаніемъ и своими понятіями значительно уклонилась, а въ нѣкоторыхъ и совсѣмъ отдѣлилась отъ прежняго русскаго быта, изгладивъ даже и память объ немъ изъ сердца своего: — этотъ русскій бытъ, созданный по понятіямъ прежней образованности и проникнутый ими, еще уцѣлѣлъ почти неизмѣненно въ низшихъ классахъ народа: онъ уцѣлѣлъ — хотя живетъ въ нихъ уже почти безсознательно, уже въ одномъ обычномъ преданіи, уже не связанный господствомъ образующей мысли».

Церковь руководила жизнью русскаго народа.

«Вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлила она съ начала навсегда твердыя границы между собою и государствомъ, между безусловною чистотою своихъ высшихъ началъ и житейскою смѣшанностью общественнаго устройства, всегда оставаясь внѣ государства и его мірскихъ отношеній, высоко надъ ними какъ недосягаемый, свѣтлый идеалъ, къ которому они должны стремиться и который самъ не смѣшивался съ ихъ земными пружинами. Управляя личнымъ убѣжденіемъ людей, Церковь Православная никогда не имѣла притязанія насильственно

управлять ихъ волею или пріобрѣтать себѣ власть свѣтски-правительственную, или еще менѣе искать формальнаго господства надъ правительственною властію. Государство, правда, стояло Церковью: оно было тѣмъ крѣпче въ своихъ основахъ, тѣмъ связнѣе въ своемъ устройствѣ, тѣмъ цѣльнѣе въ своей внутренней жизни, чѣмъ болѣе проникалось ею. Но церковь никогда не стремилась быть государствомъ, какъ и государство, въ свою очередь, смиренно сознавая свое мірское назначеніе, никогда не называло себя «святымъ». Ибо если русскую землю иногда называли «святая Русь», то это единственно съ мыслию о тѣхъ святыняхъ мощей и монастырей и храмовъ Божіихъ, которыя въ ней находились; а не потому, чтобы ея устройство представляло сопроницаніе церковности и свѣтскости, какъ устройство «святой Римской имперіи».

Отсутствіе завоеванія и вслѣдствіе него отсутствіе нерушимыхъ границъ между сословіями, правда внутренняя—а не одно право внѣшнее,—твердость семьи: таковы были основныя черты древнерусскаго быта.

«Поэтому, если справедливо сказанное нами прежде, то *раздвоеніе и цѣльность, разсудочность и разумность* будутъ послѣднимъ выраженіемъ западно-европейской и древне-русской образованности».

Но отчего же русская образованность не развилась полнѣе? Надо думать, «что особенность Россіи заключалась въ самой полнотѣ и чистотѣ того выраженія, которое христіанское ученіе получило въ ней,—во всемъ объемѣ ея общественнаго и частнаго быта. Въ этомъ состояла главная сила ея образованности, но въ этомъ же таилась и главная опасность для ея развитія. Чистота выраженія такъ сливалась съ выражаемымъ духомъ, что человѣку легко было смѣшать ихъ значительность и наружную форму уважать наравнѣ съ ея внутреннимъ смысломъ. Отъ этого смѣшенія, конечно, ограждалъ его самъ характеръ Православнаго ученія, преимущественно заботящагося о цѣльности духа. Однакоже разумъ ученія, принимаемаго человѣкомъ, не совершенно уничто-

жасть въ немъ общечеловѣческую слабость. Въ человѣкѣ и въ народѣ нравственная свобода воли не уничтожается никакимъ воспитаніемъ и никакими постановленіями. Въ XVI вѣкѣ дѣйствительно видимъ мы, что уваженіе къ формѣ уже во многомъ преобладаетъ надъ уваженіемъ духа. Можетъ быть, начало этого неравновѣсія должно искать еще и прежде; но въ XVI вѣкѣ оно уже становится видимымъ. Нѣкоторыя поврежденія, вкравшіяся въ богослужебныя книги, и нѣкоторыя особенности въ наружныхъ обрядахъ церкви, упорно удерживались въ народѣ, несмотря на то, что безпрестанныя сношенія съ Востокомъ должны бы были вразумить его о несходствахъ съ другими церквами. Въ то же время видимъ мы, что частныя юридическія постановленія Византіи не только изучались, но и уважались наравнѣ почти съ постановленіями обще-церковными, и уже выражается требованіе: примѣнять ихъ къ Россіи, какъ бы они имѣли всеобщую обязательность. Въ то же время въ монастыряхъ, сохранившихъ свое наружное благолѣпіе, замѣчался нѣкоторый упадокъ въ строгости жизни. Въ то же время, правильное въ началѣ, образованіе взаимныхъ отношеній бояръ и помѣщиковъ начинаетъ принимать характеръ уродливой формальности запутаннаго мѣстничества. Въ то же время близость уни, страхомъ чуждыхъ нововведеній, еще болѣе усиливаетъ общее стремленіе къ боязливому сохраненію всей, даже наружной и буквальной, цѣлости въ коренной русской православной образованности.

«Такимъ образомъ уваженіе къ преданію, которымъ стояла Россія, нечувствительно для нея самой, перешло въ уваженіе болѣе наружныхъ формъ его, чѣмъ его оживляющаго духа. Оттуда произошла та односторонность въ русской образованности, которой рѣзкимъ послѣдствіемъ былъ Іоаннъ Грозный и которая, черезъ вѣкъ послѣ, была причиною расколовъ и, потомъ, своею ограниченностью, должна была въ нѣкоторой части мыслящихъ людей, произвести противоположную себѣ, другую односторонность: стремленіе къ формамъ чужимъ и чужому духу.

«Но корень образованности Россіи живетъ еще въ ея на-

родѣ и, что́ всего важнѣе, онъ живетъ въ его святой, православной церкви. Поэтому, на этомъ только основаніи и ни на какомъ другомъ должно быть воздвигнуто прочное зданіе просвѣщенія Россіи... Построеніе же этого зданія можетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ народа нашего, который не исключительно занятъ добываніемъ матеріальныхъ средствъ жизни, и которому, слѣдовательно, въ общественномъ составѣ преимущественно предоставлено значеніе: выработывать мысленно общественное самосознаніе,—когда этотъ классъ, говорю я, до сихъ поръ проникнутый западными понятіями, наконецъ полнѣе убѣдится въ односторонности европейскаго просвѣщенія; когда онъ живѣе почувствуетъ потребность новыхъ умственныхъ началъ; когда съ разумною жаждою полной правды онъ обратится къ чистымъ источникамъ древней Православной вѣры, своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой святой вѣры отечества въ прежней, родимой жизни Россіи. Тогда, вырвавшись изъ подъ гнета разсудочныхъ системъ европейскаго любуудрія, русскій образованный человекъ въ глубинѣ особеннаго, недоступнаго для западныхъ понятій, живаго, цѣльнаго умозрѣнія святыхъ отцевъ церкви, найдетъ самые полные отвѣты, именно на тѣ вопросы ума и сердца, которые всего болѣе тревожатъ душу, обманутую послѣдними результатами западнаго самосознанія. А въ прежней жизни отечества своего онъ найдетъ возможность понять развитие другой образованности.

«Тогда возможна будетъ въ Россіи наука, основанная на самобытныхъ началахъ, отличныхъ отъ тѣхъ, какія намъ предлагаетъ просвѣщеніе европейское. Тогда возможно будетъ въ Россіи искусство, на самородномъ корнѣ расцвѣтающее. Тогда жизнь общественная въ Россіи утвердится въ направленіи отличномъ отъ того, какое можетъ ей сообщить образованность западная.

«Однако же, говоря: направленіе, я не излишнимъ считаю прибавить, что этимъ словомъ я рѣзко ограничиваю весь смыслъ моего желанія. Ибо, если когда нибудь случилось бы

мнѣ увидѣть во снѣ, что какая либо изъ внѣшнихъ особенностей нашей прежней жизни, давно погибшая, вдругъ воскресла посреди насъ и въ прежнемъ видѣ своемъ вмѣшалась въ настоящую жизнь нашу, то это видѣніе не обрадовало бы меня. Напротивъ, оно испугало бы меня. Ибо такое перемѣненіе прошлаго въ новое, отжившаго въ живущее, было бы то же, что перестановка колеса изъ одной машины въ другую, другаго устройства и размѣра: въ такомъ случаѣ или колесо должно сломаться, или машина. Одного только желаю я: чтобы тѣ начала жизни, которыя хранятся въ ученіи Святой Православной Церкви вполне проникнули убѣжденія всѣхъ степеней и сословій нашихъ; чтобы эти высшія начала, господствуя надъ просвѣщеніемъ Европейскимъ и не вытѣсняя его, но напротивъ, обнимая его своею полнотою, дали ему высшій смыслъ и послѣднее развитіе, а чтобы та *цѣльность* бытія, которую мы замѣчаемъ въ древней, была навсегда удѣломъ настоящей и будущей нашей Православной Россіи».

Изложенная нами, въ значительной мѣрѣ собственными словами Кирѣевского, статья его естественно требовала продолженія—болѣе точнаго изображенія той христіанской философіи, которую онъ признавалъ за корень, а дальнѣйшее ея развитіе—за ближайшую цѣль русскаго просвѣщенія. Для этого нужно было прежде всего опредѣлить исходную точку западной философіи, только указанную въ первой статьѣ, сопоставить съ нею начало философіи христіанской и указать путь его развитія. Черезъ четыре года Кирѣевскій приступилъ къ этой задачѣ въ статьѣ «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи», къ изложенію которой мы и переходимъ.

«Недавно еще стремленіе къ философіи было господствующимъ въ Европѣ». Но за послѣднее время оно ослабло. Философія дошла до своего крайняго предѣла и теперь лишь примѣняется къ отдѣльнымъ наукамъ и вопросамъ. «Несогласія рационально-философскихъ убѣжденій съ ученіями вѣры внушали нѣкоторымъ западнымъ христіанамъ желаніе противопоставить имъ другія философскія воззрѣнія, основанныя на

вѣрѣ». Но это невозможно, ибо противники раціонализма сами не могутъ оторваться отъ его основы. Поэтому иные вовсе отвергаютъ философію и осуждаютъ разумъ, какъ нѣчто противное вѣрѣ. «Но эти благочестивые люди на Западѣ не замѣчаютъ, что такимъ гоненіемъ разума они еще болѣе самихъ философовъ вредятъ убѣжденіямъ религіознымъ. Ибо что это была бы за религія, которая не могла бы вынести свѣта науки и сознанія? Что за вѣра, которая не совмѣстна съ разумомъ? Между тѣмъ кажется, что вѣрующему человѣку на Западѣ почти не остается другаго средства спасти вѣру, какъ сохранять ея слѣпоту и сберегать боязливо отъ соприкосновенія съ разумомъ. Это несчастное, но необходимое послѣдствіе внутренняго раздвоенія самой вѣры. Ибо гдѣ ученіе вѣры хотя сколько нибудь уклонилось отъ своей основной чистоты, тамъ это уклоненіе, развиваясь мало по малу, не можетъ не явиться противорѣчіемъ вѣры. Недостатокъ цѣльности и внутренняго единства въ вѣрѣ принуждаетъ искать единства въ отвлеченномъ мышленіи. Человѣческій разумъ, получивъ одинакія права съ Божественнымъ Откровеніемъ, сначала служить основаніемъ религіи, а потомъ замѣняетъ ее собою».

Раціонализмъ лежитъ въ основѣ западнаго христіанства. Римская церковь отпала отъ Вселенской потому, что ввела новые догматы, рожденные случайнымъ выводомъ логики западныхъ народовъ.

«Отсюда произошло то первое раздвоеніе въ самомъ основномъ началѣ Западнаго вѣроученія, изъ котораго развилась сперва схоластическая философія внутри вѣры, потомъ реформація въ вѣрѣ и наконецъ философія внѣ вѣры. Первые раціоналисты были схоластики; ихъ потомство называется Гегельянцами. Но направленіе Западныхъ философій было различно, смотря по тѣмъ исповѣданіямъ, изъ которыхъ онѣ возникали; ибо каждое особое исповѣданіе непременно предполагаетъ особое отношеніе разума къ вѣрѣ. Особое отношеніе разума къ вѣрѣ опредѣляетъ особый характеръ того мышленія, которое изъ него рождается».

Рациональная философія родилась въ земляхъ протестантскихъ и отсюда распространилась въ католическія, гдѣ единственная попытка самостоятельной христіанской философіи въ Поръ-Рояль была задушена.

«Въ тѣхъ народахъ, которыхъ умственная жизнь подлежала Римской Церкви, самобытная философія была невозможна. Но, однако же, развитіе образованности требовало знакоющаго ее и связующаго мышленія. Между живою наукою міра и формальною вѣрою Рима лежала пропасть, чрезъ которую мыслящій католикъ долженъ былъ дѣлать отчаянный прыжокъ. Этотъ прыжокъ не всегда былъ подъ силу человѣческому разуму и не всегда по совѣсти искреннему христіанину. Отъ того, родившись въ земляхъ протестантскихъ, рациональная философія распространилась и на католическія, проникла всю образованность Европы однимъ общимъ характеромъ и прежнее единомысліе вѣры Западныхъ народовъ замѣнила единомысліемъ отвлеченнаго разума». Въ своей окончательной формѣ—системѣ Гегеля—философія эта близка къ ученію Аристотеля, давшему свой характеръ всему слѣдовавшему за нимъ міру языческой древности.

«Христіанство, измѣнивъ духъ древняго міра и воскресивъ въ человѣкѣ погибшее достоинство его природы, не безусловно отвергло древнюю философію. Ибо вредъ и ложь философіи заключались не въ развитіи ума, ею сообщаемомъ, но въ ея послѣднихъ выводахъ, которые зависѣли отъ того, что она почитала себя вышею и единственною истиною, и уничтожались сами собою, какъ скоро умъ признавалъ другую истину выше ся. Тогда философія становилась на подчиненную степень, являлась истиною относительной, и служила средствомъ къ утвержденію высшаго начала въ сферѣ другой образованности.

«Боровшись на смерть съ ложью языческой мифологіи, христіанство не уничтожало языческой философіи, но, принимая ее, преобразовывало согласно своему высшему любомудрію. Величайшія свѣтила Церкви: Іустинъ, Климентъ, Оригенъ, во сколько онъ былъ православенъ, Аѳанасій, Василій, Гри-

горій и большая часть изъ великихъ Святыхъ Отцевъ, на которыхъ, такъ сказать, утверждалось христіанское ученіе среди языческой образованности, были не только глубоко знакомы съ древнею философіею, но еще пользовались ею для разумнаго построенія того перваго христіанскаго любомудрія, которое все современное развитіе наукъ и разума связало въ одно всеобъемлющее созерцаніе вѣры. Истинная сторона языческой философій, проникнутая христіанскимъ духомъ, явилась посредницею между вѣрою и внѣшнимъ просвѣщеніемъ человѣчества. И не только въ тѣ времена, когда христіанство еще боролось съ язычествомъ, но и во все послѣдующее существованіе Византіи видимъ мы, что глубокое изученіе греческихъ философовъ было почти общимъ достояніемъ всѣхъ учителей Церкви. Ибо Платонъ и Аристотель могли быть только полезны для христіанскаго просвѣщенія, какъ великіе естествоиспытатели разума, но не могли быть опасны для него, покуда на верху образованности человѣческой стояла истина христіанская. Ибо не надобно забывать, что въ борьбѣ съ язычествомъ христіанство не уступало ему разума, но проникая его, подчиняло своему служенію всю умственную дѣятельность міра настоящаго и прошедшаго, во сколько онъ былъ извѣстенъ. Но если гдѣ была опасность для христіанскаго народа уклониться отъ истиннаго ученія, то опасность эта преимущественно таилась въ невѣжествѣ. Развитіе разумнаго знанія, конечно, не даетъ спасенія, но ограждаетъ отъ лжезнанія. Правда, что гдѣ умъ и сердце уже однажды пронивнуты Божественною истиной, тамъ степень учености дѣлается вещію постороннею. Правда также, что сознаніе Божественнаго равно вмѣстимо для всѣхъ ступеней разумнаго развитія. Но чтобы проникать, одушевлять и руководить умственную жизнь человѣчества, Божественная истина должна подчинить себѣ внѣшній разумъ, должна господствовать надъ нимъ, не оставаясь внѣ его дѣятельности. Она должна въ общемъ сознаніи стоять выше другихъ истинъ, какъ начало властвующее, проникающая весь объемъ просвѣщенія, для каждаго частнаго лица поддерживаться единомысліемъ общественной образованности.

Невѣжество, напротивъ того, отлучаетъ народъ отъ живаго общенія умовъ, которымъ держится, движется и вырастаетъ истина посреди людей и народовъ. Отъ невѣчества разума, при самыхъ правильныхъ убѣжденіяхъ сердца, рождается ревность не по разуму, изъ которой въ свою очередь, происходитъ уклоненіе разума и сердца отъ истинныхъ убѣжденій».

Невѣжество народа, вмѣстѣ съ властолюбіемъ папъ, произвело отпаденіе Запада отъ Востока, отъ котораго пострадали тотъ и другой. При раздѣленіи была роковая минута, когда Западъ могъ устоять—и не устоялъ. Другая подобная минута была во время реформаціи; но и ея не воспользовался Западъ, и Востокъ остался одинъ хранителемъ откровенной истины и христіанской философіи. Въ Православіи границы Божественнаго Откровенія и человѣческаго мышленія не нарушаются; но вѣрующее мышленіе стремится согласить понятіе разума съ ученіемъ вѣры.

«Чѣмъ свободнѣе, чѣмъ искреннѣе вѣрующій разумъ въ своихъ естественныхъ движеніяхъ, тѣмъ полнѣе и правильнѣе стремится онъ къ Божественной истинѣ. Для православно-мыслящаго ученіе Церкви не пустое зеркало, которое каждой личности отражаетъ ея очертаніе; не Прокрустова постель, которая уродуетъ живыя личности по одной условной мѣркѣ; но высшій идеалъ, къ которому только можетъ стремиться вѣрующій разумъ, конечный край высшей мысли, руководительная звѣзда, которая горитъ на высотѣ неба и, отражаясь въ сердцахъ, освѣщаетъ разуму его путь къ истинѣ».

«Первое условіе для такого возвышенія разума заключается въ томъ, чтобы онъ стремился собрать въ одну недѣлимую цѣльность всѣ свои отдѣльныя силы, которыя въ обыкновенномъ положеніи человѣка находятся въ состояніи разрозненности и противорѣчія; чтобы онъ не признавалъ своей отвлеченной логической способности за единственный органъ разумѣнія истины; чтобы голосъ восторженнаго чувства, не соглашенный съ другими силами духа, онъ не почиталъ безошибочнымъ указаніемъ правды; чтобы внушенія отдѣльнаго эстетическаго смысла, независимо отъ другихъ понятій, онъ

не считалъ вѣрнымъ путеводителемъ для разумѣнія высшаго міроустройства; даже,—чтобы господствующую любовь своего сердца, отдѣльно отъ другихъ требованій духа, онъ не почиталъ за непогрѣшительную руководительницу въ постиженіи высшаго блага; но чтобы постоянно искалъ въ глубинѣ души того внутренняго корня разумѣнія, гдѣ всѣ отдѣльныя силы сливаются въ одно живое и цѣльное зрѣніе ума».

Таково должно быть мышленіе православнаго.

«Ибо для него нѣтъ мышленія, оторваннаго отъ памяти о внутренней цѣльности ума, о томъ средоточіи самосознанія, гдѣ настоящее мѣсто для высшей истины и гдѣ не одинъ отвлеченный разумъ, но вся совокупность умственныхъ и душевныхъ силъ кладутъ одну общую печать достовѣрности на мысль, предстоящую разуму,—какъ на Аѳонскихъ горахъ каждый монастырь имѣетъ только одну часть той печати, которая, слагаясь вмѣстѣ изъ всѣхъ отдѣльныхъ частей, на общемъ соборѣ монастырскихъ предстоятелей составляетъ одну законную печать Аѳона».

«Покуда внѣшнее просвѣщеніе продолжало жить на Востоцѣ, до тѣхъ поръ процвѣтала тамъ и православно-христіанская философія. Она погасла только вмѣстѣ съ свободою Греціи и съ уничтоженіемъ ея образованности. Но слѣды ея сохраняются въ писаніяхъ Святыхъ Отцевъ Православной Церкви, какъ живая искра, готовая вспыхнуть при первомъ прикосновеніи вѣрующей мысли и опять засвѣтитъ путеvodительный фонарь для разума, ищущаго истины».

«Но возобновить философію Св. Отцевъ въ томъ видѣ, какъ она была въ ихъ время, невозможно. Возникшая изъ отношенія вѣры къ современной образованности, она должна была соотвѣтствовать и вопросамъ своего времени, и той образованности, среди которой она развилась. Развѣтіе новыхъ сторонъ наукообразной и общественной образованности требуетъ и соотвѣтственнаго имъ новаго развитія философіи. Но истины, выраженныя въ умозрительныхъ писаніяхъ Св. Отцевъ, могутъ быть для нея живительнымъ зародышемъ и свѣтлымъ указателемъ пути.

«Противопоставить эти драгоценныя и живительныя истины современному состоянію философіи, проникнуться, по возможности, ихъ смысломъ, сообразить въ отношеніи къ нимъ всѣ вопросы современной образованности, всѣ логическія истины, добытыя наукою, всѣ плоды тысячелѣтнихъ опытовъ разума среди его разностороннихъ дѣятельностей; изо всѣхъ этихъ соображеній вывести общія слѣдствія, соотвѣтственныя настоящимъ требованіямъ просвѣщенія,—вотъ задача, рѣшеніе которой могло бы измѣнить все направленіе просвѣщенія въ народѣ, гдѣ убѣжденія Православной вѣры находятся въ разногласіи съ заимствованною образованностію».

«Но чтобы понять отношенія, которыя философія древнихъ Св. Отцевъ можетъ имѣть къ современной образованности, недостаточно прилагать къ ней требованія нашего времени; надобно еще постоянно держать въ умѣ ея связь съ образованностію ей современной, чтобы отличить то, что въ ней есть существеннаго, отъ того, что только временное и относительное. Тогда не та была степень развитія наукъ, не тотъ характеръ этого развитія, и не то волновало и смущало сердце человѣка, что волнуетъ и смущаетъ его теперь».

Несогласіе языческаго государства съ церковною истиною заставляло лучшихъ людей уходить въ монастыри. Поэтому и философія ихъ не касалась жизни общественной, а только внутренней—созерцательной.

«Однако же между вопросами внутренней, созерцательной жизни того времени и между вопросами современной намъ общественно-философской образованности есть общее, это—человѣческій разумъ. Естество разума, разсматриваемое съ высоты сосредоточеннаго Богомыслия, испытанное въ самомъ высшемъ развитіи внутренняго духовнаго созерцанія, является совсѣмъ въ другомъ видѣ, чѣмъ въ какомъ является разумъ, ограничивающійся развитіемъ жизни внѣшней и обыкновенной. Конечно, общіе его законы тѣ же. Но, восходя на высшую ступень развитія, онъ обнаруживаетъ новыя стороны и новыя силы своего естества, которыя бросаютъ новый свѣтъ и на общіе его законы. То понятіе о разумѣ, которое выра-

боталось въ новѣйшей философіи и котораго выраженіемъ служитъ система Шеллинго-Гегельянская, не противорѣчило бы безусловно тому понятію о разумѣ, какое мы замѣчаемъ въ умозрительныхъ твореніяхъ Святыхъ Отцевъ, если бы только оно не выдавало себя за высшую познавательную способность и, вслѣдствіе этого притязанія на высшую силу познания, не ограничивало бы самую истину только той стороною познаваемости, которая доступна этому отвлеченно-раціональному способу мышленія. Всѣ ложные выводы раціональнаго мышленія зависятъ только отъ его притязанія на высшее и полное познаніе истины. Если бы оно сознало свою ограниченность и видѣло въ себѣ одно изъ орудій, которыми познается истина, а не единственное орудіе познания; тогда и выводы свои оно представило бы, какъ условные и относящіеся единственно къ его ограниченной точкѣ зрѣнія, и ожидало бы другихъ, высшихъ и истиннѣйшихъ выводовъ отъ другаго, высшаго и истиннѣйшаго способа мышленія. Въ этомъ смыслѣ принимается оно мыслящимъ христіаниномъ, который, отвергая его послѣдніе результаты, тѣмъ съ большею пользою для своего умственного развитія можетъ изучать его относительную истину, принимая какъ законное достояніе разума все, что есть вѣрнаго и объяснительнаго въ самомъ одностороннемъ развитіи его умозрѣній».

Первоначальникъ послѣдней эпохи въ исторіи Германской философіи, Шеллингъ, доказалъ ея несостоятельность и обратился къ вѣрѣ, но не смогъ дойти до конца. «Шеллингова христіанская философія явилась и не христіанскою и не философіей: отъ христіанства отличалась она самыми главными догматами, отъ философіи—самымъ способомъ познания».

«Потому я думаю», — такъ кончаетъ Кирѣевскій свою статью: «что философія Нѣмецкая, въ совокупности съ тѣмъ развитіемъ, которое она получила въ послѣдней системѣ Шеллинга, можетъ служить у насъ самою удобною ступенью мышленія отъ заимствованныхъ системъ къ любомудрію самостоятельному, соотвѣтствующему основнымъ началамъ древне-Русской образованности и могущему подчинить раздвоен-

ную образованность Запада цѣльному сознанию вѣрующаго разума».

Статья «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи» была помѣщена во второй книгѣ «Русской Бесѣды», разрѣшенной къ печатанію 8 Іюня 1856 года, то-есть за четыре дня до кончины Ивана Васильевича. Такимъ образомъ статья эта явилась какъ бы его завѣщаніемъ. Въ концѣ той же книги «Бесѣды» напечатанъ некрологъ его, написанный Хомяковымъ, къ которому мы еще вернемся. Въ первой книгѣ «Бесѣды» 1857 года напечатаны были отрывки, найденные въ бумагахъ Кирѣевского и представляющіе собою наброски для второй, положительной части его труда, и статья по поводу ихъ Хомякова. Къ сожалѣнію, Иванъ Васильевичъ успѣлъ записать только немногія свои мысли о содержаніи христіанской философіи. «Любомудріе св. Отцевъ»,—читаемъ въ одномъ изъ отрывковъ: «представляетъ только зародышъ этой будущей философіи, которая требуется всею совокупностію современной Русской образованности,—зародышъ живой и ясный, но нуждающійся еще въ развитіи и не составляющій еще самой науки философіи. Ибо философія не есть основное убѣжденіе, но мысленное развитіе того отношенія, которое существуетъ между этимъ основнымъ убѣжденіемъ и современною образованностію. Только изъ такого развитія своего получаетъ она силу сообщать свое направленіе всѣмъ другимъ наукамъ, будучи вмѣстѣ ихъ первымъ основаніемъ и послѣднимъ результатомъ. Думать же, что у насъ уже есть философія готовая, заключающаяся въ св. Отцахъ, было бы крайне ошибочно. Философія наша должна еще создаться, и создаться, какъ я сказалъ, не однимъ человѣкомъ, но вырастать на виду сочувственнымъ содѣйствіемъ общаго единомыслія» *).

*) Любопытно сопоставить съ этими печатными словами Кирѣевского мнѣніе, приписываемое ему Грановскимъ: „Вся мудрость человѣческая истощена въ твореніяхъ св. Отцевъ греческой Церкви, писавшихъ послѣ отдѣленія отъ Западной. Ихъ только нужно изучать: *дополнять нечего, все сказано*“. (Т. Н. Грановскій, А. Станкевича, стр. 112). Такъ понимались и въ такомъ видѣ распространялись мнѣнія славянофиловъ ихъ литературными противниками.

Далѣе, о «новомъ самосознаніи ума» Кирѣевскій говоритъ: «Возможность такого знанія такъ близка къ уму всякаго образованнаго и вѣрующаго человѣка, что казалось бы, достаточно одной случайной искры мысли, чтобы зажечь огонь неугасимаго стремленія къ этому новому и живительному мышленію, долженствующему согласить вѣру и разумъ, наполнить пустоту, которая раздвояетъ два міра, требующіе соединенія, утвердить въ умѣ человѣка истину духовную видимымъ ея господствомъ надъ истинною естественною, и возвысить истину естественную ея правильнымъ отношеніемъ къ духовной, и связать, наконецъ, обѣ истины въ одну живую мысль; ибо истина одна, какъ одинъ умъ человѣка, созданный стремиться къ Единому Богу».

Въ другомъ отрывкѣ мы находимъ опредѣленіе вѣры: «Сознаніе объ отношеніи живой Божественной личности къ личности человѣческой служитъ основаніемъ для вѣры, или правильнѣе, вѣра есть то самое сознаніе болѣе или менѣе ясное, болѣе или менѣе непосредственное. Она не составляетъ чисто человѣческаго знанія, не составляетъ особаго понятія въ умѣ или сердцѣ, не вмѣщается въ одной какой либо познавательной способности, не относится къ одному логическому разуму, или сердечному чувству, или внушенію совѣсти, но обнимаетъ всю цѣльность человѣка, и является только въ минуты этой цѣльности и соразмѣрно ея полнотѣ. Потому главный характеръ вѣрующаго мышленія заключается въ стремленіи собрать всѣ отдѣльныя части души въ одну силу, отыскать то внутреннее средоточеніе бытія, гдѣ разумъ и воля, и чувство, и совѣсть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объемъ ума сливается въ одно живое единство, и такимъ образомъ восстанавливается существенная личность человѣка въ ея первозданной недѣлимости. Не форма мысли, предстоящей уму, производитъ въ немъ это сосредоточеніе силъ; но изъ умственной цѣльности исходитъ тотъ смыслъ, который даетъ настоящее разумѣніе мысли».

Еще далѣе читаемъ:

«Не для всѣхъ возможны, не для всѣхъ необходимы занятія богословскія; не для всѣхъ доступно занятіе любому-дріемъ; не для всѣхъ возможно постоянное и особое упражненіе въ томъ внутреннемъ вниманіи, которое очищаетъ и собираетъ умъ къ высшему единству; но для всякаго возможно и необходимо связать направленіе своей жизни съ своимъ кореннымъ убѣжденіемъ вѣры, согласить съ нимъ главное занятіе и каждое особое дѣло, чтобъ всякое дѣйствіе было выраженіемъ одного стремленія, каждая мысль искала одного основанія, каждый шагъ велъ къ одной цѣли. Безъ того жизнь человѣка не будетъ имѣть никакого смысла, умъ его будетъ счетною машиной, сердце — собраніемъ бездушныхъ струнъ, въ которыхъ свищетъ случайный вѣтеръ; никакое дѣйствіе не будетъ имѣть нравственнаго характера, и человѣка собственно не будетъ. Ибо человекъ—это его вѣра».

Послѣдніе два отрывка даютъ намъ возможность судить о томъ, чѣмъ была бы вторая часть статьи, если бы Кирѣевскій успѣлъ ее написать. Оставь онъ намъ, вмѣсто двухъ томовъ сочиненій, только эти двѣ небольшія замѣтки, — и тогда велика была бы его заслуга...

IX.

Можно сказать навѣрно, что смерть Ивана Васильевича Кирѣевскаго была встрѣчена съ единоклубнымъ чувствомъ сожалѣнія всѣми русскими людьми, имѣвшими понятіе о немъ, безъ различія направленій. Вспомнимъ отзывы о немъ Грановскаго, умершаго меньше чѣмъ за годъ до него, и пережившаго его Герцена. Чтобы опредѣлить отношеніе къ нему этихъ его литературныхъ противниковъ, мы не умѣемъ подыскать болѣе подходящаго слова какъ *грустное удивленіе*. Эти люди, зная хорошо и универсальное образованіе Кирѣевскаго, и его исключительную искренность, не понимали, какъ могъ онъ, уже въ зрѣломъ возрастѣ, сознательно обратиться къ вѣрѣ и къ народности въ наукѣ. Хомякова, хотя и неосновательно, обвиняли въ діалектической изворотливости, Аксаковыхъ — въ увлеченіи страсти, Самарина — въ суровости политической программы: Кирѣевскаго ни въ чемъ подобномъ обвинить было нельзя. Его кротость обезоруживала всѣхъ; его прямодушіе, сдержанность и сердечная теплота исключали всякую возможность подозрѣнія въ какомъ бы то ни было темномъ побужденіи даже со стороны враговъ—да у него ихъ и не было. Оставалось предположить *ослѣпленіе*, увлеченіе *мистицизмомъ*—благо это неопредѣленное слово такъ легко поддается любому толкованію. И такъ было признано, что церковное направленіе Кирѣевскаго было ослѣпленіемъ, слабостью утомленнаго жизнью ума... Говоря это, мы не думаемъ порицать за такой взглядъ людей про-

тивнаго направленія: они *не могли* думать иначе; но взгляды этотъ служить, между прочимъ, къ уясненію положительнаго значенія Кирѣвскаго въ исторіи развитія русской мысли. Мнѣніе объ Иванѣ Васильевичѣ людей одного съ нимъ направленія выразилось въ словахъ о немъ Хомякова, написавшаго его некрологъ въ «Русской Бесѣдѣ»: «Сердце, исполненное нѣжности и любви; умъ обогащенный всѣмъ просвѣщеніемъ современной намъ эпохи; прозрачная чистота вроткой и беззлобной души; какая то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горячее стремленіе къ истинѣ, необычайная тонкость діалектики въ спорѣ, сопряженная съ самою добросовѣстною уступчивостью, когда противникъ былъ правъ, и съ какою то нѣжною пощадою, когда слабость противника была явною; тихая веселость, всегда готовая на безобидную шутку, врожденное отвращеніе отъ всего грубаго и оскорбительнаго въ жизни, въ выраженіи мысли или въ отношеніяхъ къ другимъ людямъ; вѣрность и преданность въ дружбѣ, готовность всегда прощать врагамъ и мириться съ ними искренно; глубокая ненависть къ пороку и крайнее снисхожденіе въ судѣ о порочныхъ людяхъ; наконецъ, безукоризненное благородство, не только недопускавшее ни пятна, ни подозрѣнія на себя, но искренно страдавшее отъ всякаго неблагородства, замѣченнаго въ другихъ людяхъ: таковы были рѣдкія и неоцѣненные качества, по которымъ Иванъ Васильевичъ Кирѣвскій былъ любезенъ всѣмъ, сколько нибудь знавшимъ его, и безконечно дорогъ своимъ друзьямъ. Смерть его останется неисцѣлимою раною для многихъ.

«Но потери Ивана Васильевича Кирѣвскаго важна не для однихъ личныхъ его знакомыхъ и не для тѣснаго круга его друзей, нѣтъ, она важна и незамѣнима для всѣхъ его соотечественниковъ, истинно любящихъ просвѣщеніе и самобытную жизнь Русскаго ума. Немного оставилъ онъ памятниковъ своей умственной дѣятельности; но все, что онъ сказалъ, было или будетъ плодотворнымъ. Мы не говоримъ о замѣчательныхъ, но незрѣлыхъ произведеніяхъ его юности (хотя въ нихъ уже, среди многихъ ошибокъ, выражались глубокія мысли),

мы говоримъ о томъ, что было имъ высказано во время полной возмужалости его ума. Нѣсколько листовъ составляютъ весь итогъ его печатныхъ трудовъ; но въ этихъ немногихъ листахъ—заключается богатство самостоятельной мысли, которое обогатитъ многихъ современныхъ и будущихъ мыслителей и которое даетъ намъ полное право думать, что въ глубинѣ его души таилось еще много невысказанныхъ и, можетъ быть, даже еще не вполне сознанныхъ имъ сокровищъ.

Изложивъ затѣмъ вкратцѣ научные выводы Кирѣевского, Хомяковъ, такъ заключаетъ свой отзывъ о немъ:

«Плоды, имъ добытые, повидимому заключаются въ отрицаніяхъ, но эти отрицанія имѣютъ характеръ вполне положительнаго знанія. Этихъ плодовъ, этихъ новыхъ выводовъ не много; но такова участь тружениковъ философіи: одну, двѣ мысли добываютъ они трудомъ цѣлой жизни, напряженною работою всѣхъ мыслящихъ способностей и, можно сказать, кровію сердца, алчущаго истины, но каждая изъ этихъ мыслей есть шагъ впередъ для всего человѣческаго мышленія.

Два, три такіе вывода записываютъ въ исторіи науки еще одно великое имя и питаютъ цѣлыя поколѣнія своимъ разнообразнымъ развитіемъ, сосредоточивая въ себѣ разумный трудъ поколѣній предшествовавшихъ. Конечно, немногіе еще оцѣнятъ вполне И. В. Кирѣевского; но придетъ время, когда наука, очищенная строгимъ анализомъ и просвѣтленная вѣрою, оцѣнитъ его достоинство и опредѣлитъ не только его мѣсто въ поворотномъ движеніи Русскаго просвѣщенія, но еще и заслугу его передъ жизнію и мыслию человѣческою вообще.

Выводы, имъ добытые, сдѣлавшись общимъ достояніемъ, будутъ всѣмъ извѣстны; но его немногія статьи останутся всегда предметомъ изученія по послѣдовательности мысли, постоянно требовавшей отъ себя строгаго отчета, по характеру теплой любви къ истинѣ и людямъ, которая вездѣ въ нихъ просвѣчиваетъ, по вѣрному чувству изящнаго, по благоговѣйной признательности его къ своимъ наставникамъ-предшественникамъ въ путяхъ науки,—даже тогда, когда онъ при-

нужденъ ихъ осуждать и особенно по какому то глубокому сочувствію невысказаннымъ требованіемъ всего человѣчества, алчущаго живой и животворящей правды».

Таково сужденіе человѣка, стоявшаго во главѣ того умственнаго движенія, къ которому принадлежалъ Кирѣвскій, — человѣка, бывшаго и однимъ изъ ближайшихъ его друзей. Къ словамъ этимъ, сказаннымъ надъ свѣжею могилою, — теперь, черезъ сорокъ слишкомъ лѣтъ, мы должны, прибавить то, чего не могъ сказать тогда Хомяковъ.

Дѣло Кирѣвскаго въ наукѣ всего ближе соприкасается съ дѣломъ самого Хомякова. Наиболее сильныя послѣ нихъ и младшіе по годамъ представители славянофильскаго ученія трудились въ иныхъ сферахъ мысли.

Будучи согласны въ основныхъ воззрѣніяхъ, Кирѣвскій и Хомяковъ должны были встрѣчаться въ рѣшеніи и разработкѣ отдѣльныхъ вопросовъ. И дѣйствительно, въ двухъ главныхъ статьяхъ Кирѣвскаго мы находимъ многое, представляющее, повидимому, повтореніе мыслей Хомякова или наоборотъ. Но изъ этого совпаденія, хотя не случайнаго, а обусловленнаго сходствомъ и даже тождествомъ основныхъ положеній, не слѣдуетъ, чтобы одинъ изъ нихъ заимствовалъ что либо у другаго. Хотя мы знаемъ, что Хомяковъ оказалъ несомнѣнное воздѣйствіе на измѣненіе образа мыслей Кирѣвскаго, но знаемъ также, что самое это измѣненіе не было полнымъ переворотомъ, отреченіемъ отъ всѣхъ прежнихъ убѣжденій, а подготовлялось постепенно. Вмѣстѣ съ тѣмъ религіозныя убѣжденія Кирѣвскаго измѣнились не столько въ силу умозрительной работы, сколько подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ сильной личности подвижника-духовника, тогда какъ Хомяковъ выросъ въ православномъ образѣ мыслей. Поэтому, быть можетъ, вѣра Хомякова была болѣе спокойная, вѣра Кирѣвскаго — болѣе восторженная.

Что касается до области занятій обоихъ, то кругъ изысканій Кирѣвскаго входитъ, какъ часть, въ болѣе широкій кругъ Хомякова, захватывавшій собою, кромѣ богословскихъ, историко-философскихъ и художественныхъ вопросовъ, еще

собственно исторію, лингвистику и множество другихъ отраслей человѣческаго знанія. Но за то нѣтъ сомнѣнія, что только смерть не допустила Кирѣвскаго до самостоятельной и подробной разработки ученія о вѣрѣ какъ познавательной способности,—ученія, которое, конечно, мы находимъ и у Хомякова, но которому онъ не посвятилъ—быть можетъ впрочемъ также лишь не успѣлъ посвятить—особаго труда; ибо мы не знаемъ, каково было бы продолженіе его послѣдняго письма къ Самарину.

Итакъ первая попытка построенія философіи на христіанскихъ началахъ—вотъ важнѣйшая заслуга Кирѣвскаго.

Онъ не успѣлъ осуществить этой попытки, не успѣлъ создать новой философіи; но *починъ* принадлежитъ ему безспорно и нераздѣльно.

Живя весь въ вѣрѣ и философіи, Кирѣвскій мало принималъ участія въ волненіяхъ дня и вѣка. Будучи человекомъ рѣдкой доброты и образцовымъ помѣщикомъ, онъ даже, въ великому огорченію своего друга Кошелева, былъ равнодушенъ къ начавшейся еще при его жизни подготовкѣ освобожденія крестьянъ, полагая, что всѣ силы русскихъ людей должны быть прежде всего направлены на разрѣшеніе вопросовъ вѣры и нравственности. На этомъ, быть можетъ, отразилась его близость къ созерцательному монашеству.

Въ самой этой близости—другая сторона историческаго значенія Кирѣвскаго. Всѣ славянофилы по своей вѣрѣ и сознательно православнымъ убѣжденіямъ были людьми церковными, и не даромъ про Хомякова сказано, что онъ жилъ въ Церкви; но ни одинъ изъ нихъ не былъ такъ тѣсно связанъ съ лучшими представителями церковнаго *міра* и съ самою живою и дѣйствительною его частью—просвѣщеннымъ монашествомъ—какъ И. В. Кирѣвскій. Своимъ многолѣтнимъ единеніемъ съ Оптинскими старцами онъ показалъ на дѣлѣ, что не одинъ темный людъ можетъ искать духовнаго просвѣщенія у этого древняго источника; что и много учившіеся люди напрасно думаютъ—въ лучшемъ случаѣ, когда думаютъ безъ вражды—*снисходитъ* до этой области, а что имъ приходится

возвышаться до нея. Въ этомъ смыслѣ, если по многимъ важнѣйшимъ вопросамъ человѣческаго знанія Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій останется для многихъ поколѣній русскихъ людей добрымъ учителемъ, то самая жизнь его — поучительный урокъ.



22 22

